

Огонь любви, огонь разлуки

Автор:

[Анастасия Туманова](#)

Огонь любви, огонь разлуки

Анастасия Туманова

Сёстры Грешневы #2

Разлука... Это слово прочно вошло в жизнь сестер Грешневых. Они привыкли к одиночеству, к вечной тревоге друг за друга. У них больше нет дома, нет близких.

Как странно складывается судьба!

Анна становится содержанкой. Катерина влюбляется без памяти в известного в Одессе вора Валета и начинает «работать» с ним, причем едва ли не превосходит своего подельника в мастерстве и виртуозности.

И лишь Софье, кажется, хоть немного повезло. Она выходит на сцену, ее талант признан. Музыка – единственное, что у нее осталось. Неужели в ее жизни никогда не будет любви?

Анастасия Туманова

Огонь любви, огонь разлуки

В окна поезда, несущегося по железной дороге к польской границе 14 апреля 1879 года, светило мягкое весеннее солнце. Золотистые пятна весело скакали по бархатной обивке сидений, играли в пятнашки на полу, скользили по

сомкнутым ресницам спящей в углу купе первого класса девушки. Она была очень молода, не старше восемнадцати лет. Ее темные вьющиеся волосы, выбившись из прически, в беспорядке лежали на сиденье. Звали девушку Софьей Грешневой, и сон ей виделся тревожный. «Аня, что с Катей? – бормотала она, мечась по жесткой вагонной подушке. – Аня, где Сережа? Маша, скоро начинать, твой выход... Занавес, дайте занавес... Я уезжаю... Не трогайте же меня, животное...»

«Животное», сидящее напротив, с явным интересом слушало Софьино бормотание, изредка усмехаясь или покачивая черной курчавой головой. Это был Федор Мартемьянов, костромской купец-пароходник тридцати двух лет, о немереном состоянии которого ходили легенды от Ярославля до Астрахани.

Семья Мартемьяновых стала самой богатой в Костроме при отце Федора, Пантелее Кузьмиче. Говорили, что в молодости Пантелей Мартемьянов ходил на стругах по Волге вместе с ватагой лихих людей, грабивших пароходы, и именно грабежом нажил себе немалое состояние. Каким-то чудом он миновал Сибири, отколовшись от ватаги за месяц до того, как ее всю разом накрыли в кабаке на Казанской ярмарке. Люди втихую поговаривали, что именно Пантелей и сдал властям товарищей – с тем чтобы единолично воспользоваться ватажной казной. Так или иначе, он объявился в Костроме с огромными деньгами, купил дом, три парохода и начал свое дело. Когда пароходов стало семь, Мартемьянов женился и за три года родил трех сыновей, младшим из которых был Федор.

Федор до сих пор не мог без мороза по коже вспоминать об отце: огромном сильном человеке с корявым, всегда хмурым лицом, которое совсем уж портил длинный шрам, пересекавший его от брови до подбородка и прячущийся в черной жесткой бороде. Отец иногда по целым дням не говорил ни слова, но его вид неизменно внушал ужас и семье, и работникам: собственные приказчики боялись у него воровать, неслыханное для России дело. Рука у Пантелея Мартемьянова была тяжелой, что не однажды испытывали на себе и люди купца, и близкие. Его жена, в девичестве – первая костромская красавица, статная и зеленоглазая, боялась не только разговаривать с мужем, но даже лишний раз взглянуть на него, дети в присутствии отца предпочитали прятаться по углам. В доме царили страх и тишина. Жена самого богатого в городе человека носила ветхие, рассыпавшиеся на глазах, несколько раз перешитые платья, не смея попросить у мужа денег на обнову, а самому ему порадовать супругу нарядами и в голову не приходило. Вся прибыль шла в торговый оборот, даже отдавать сыновей в гимназию Мартемьянов-старший не стал, мотивируя это тем, что он

хоть и не учился грамоте, тем не менее умудрился нажить хороший капитал. «Кассу посчитать смогут – и ладно!» Сыновья молчали и учились грамоте у дьячка по псалтыри.

Федору было восемь лет, когда пьяный отец на его глазах начал дубасить мать поленом для растопки. Мать даже кричать не смела, стонала по-коровьи, тяжело, с закрытым ртом. Федор схватил со стола хлебный нож, кинулся на отца и успел довольно сильно расцарапать ему бок. После этого отец до полусмерти избил младшего сына вожжами. Две недели мальчишка провалялся один в каморе для прислуги: мать боялась входить к нему и только ночью, прокрадываясь на цыпочках, оставляла на столе еду и забирала отходное ведро. С этого времени Федор начал прямо обращаться в вечерней молитве к богу с просьбой о ниспослании скорейшей смерти тятеньке. К десяти годам мальчик убедился, что всевышний этим заниматься не намерен. В двенадцать начал подумывать о том, кто бы мог уходить тятеньку вместо бога. В шестнадцать сообразил, что кроме него, Федора, устроить это некому. А в восемнадцать, жарким душным летом, когда над городом висело желтое марево, он дождался отъезда старших братьев с товаром на ярмарку и поднялся в спальню родителей. Пьяный отец храпел, раскинувшись поперек огромной кровати, а мать, в очередной раз избитая в кровь, дрожала и всхлипывала на полу под образами.

– Что ты, Феденька? – одними губами спросила она, увидев лицо младшего сына, впервые в жизни вошедшего в спальню родителей.

– Выйдите, мамаша, – коротко сказал он. Но она не могла встать, и Федор, легко подняв мать на руки – легкую, как веточка, истаявшую от вечного страха, – вынес ее в сени. Спокойно вернулся назад, без колебания и суеты перевернул отца на спину, бросил ему на лицо тяжелую перину и навалился всем телом сверху. Через минуту дело было кончено.

– Скончавшись папаша. Удар приключился, – сказал он матери, скорчившейся в углу сеней. – Попа зовите, да Ваньке с Афанасием отпишите в Астрахань. Жара стоит, хоронить скорее надо.

Мать слабо ахнула, схватилась за голову и лишилась чувств.

Федор был убежден в том, что никто не поверит в смерть родителя от удара, и готовился отправляться в Сибирь с чувством исполненной жизненной задачи, но,

к его изумлению, все прошло без сучка-задоринки. Вечно похмельный слободской доктор подтвердил удар от прилива крови к голове, жара и в самом деле стояла страшная, и первого купца Костромы похоронили в дикой спешке, не дожидаясь ни съезда на поминки дальней родни, ни даже возвращения старших сыновей. Те, впрочем, не особенно расстроились и вернулись домой смертельно пьяные и счастливые: после долгих лет страха и унижения им в руки падали огромный отцовский капитал и вольная воля. Но пользоваться всем этим они смогли без малого месяц.

Федор до сих пор не понимал, из каких мухоморов кухарка Егоровна сварила ту проклятую грибную лапшу. Может, если б мать, как всегда, приглядывала за кухаркой, любившей выпить, все сложилось бы по-другому и в их семье, и в его жизни. Но мать, после смерти супруга не встававшая с постели и не сказавшая никому ни слова, больше не занималась хозяйством, и Егоровна царствовала на кухне единовластно.

– Тьфу, глушня старая... Мыша, что ль, в лапше сварила? – поморщился Федор после нескольких ложек, брезгливо отодвигая от себя миску. – Ей-богу, никак невозможно такую пищу принимать... Вы-то как хлебаете, не пойму?!

– Вона, граф какой выискался! – расхохотались братья, которые с утра рыбачили на Волге, притащили четырех осетров в полтора аршина каждый и с голодухи уже умяли по две миски. – Посиди с рассвета до полудня в кустах с бреднем – и тебе за счастье покажется! Хлебай давай да спускайся в контору, счета по «Святой Ефимии» проверить надобно!

– Воля ваша, не могу. – Федор встал из-за стола, вопросительно взглянув на старшего, Афанасия, бывшего теперь главой дома. Тот величественно кивнул – ступай, мол, бестолочь, – и Федор, не доев, ушел к себе.

Через полчаса у него дико скрутило живот. Некоторое время Федор терпел, валяясь на кровати и сдавленно хрипя сквозь зубы, но с каждой минутой ему было хуже и хуже. Когда же стало совсем невмочь, он кое-как дотянулся до кринки с молоком, стоящей на столе, сделал несколько глотков – и его тут же вывернуло на пол. Преодолевая страшную боль в животе и головокружение, Федор снова выпил молока – и опять оно вылетело из него. Он пил и пил – через силу, корчась от дикой боли, понимая, что бесполезно, что все равно помрет, что надо бы позвать попа и хоть перед смертью покаяться в грехе с папашей... хотя что же каяться в том, от чего никому плохо не стало... Но, слава богу, до попа и

покаяния дело не дошло. Молоко в кринке кончилось, живот немного отпустило – и Федор, не посмотрев даже, во что превратился пол горницы, повалился вниз лицом на кровать и заснул – как провалился.

Он очнулся лишь утром от дикого воя матери, раздававшегося с первого этажа. Федор поднял тяжелую, словно чугунную голову с подушки, ужаснулся густой вони, наполнявшей горницу (следы вчерашних извержений его желудка за ночь никуда не делись), кое-как поднялся, ударом кулака распахнул ставни и, шатаясь, пошел вниз – узнать, что еще стряслось.

В доме уже суетился народ: бегали сразу два доктора – для богатых и попроще, из слободы, попов было человек пять, мельтешили какие-то старухи в черном, голосила дурниной пьяная Егоровна; мать, белая и страшная, с распущенными седыми космами, в разодранной рубаше, каталась по полу и беспрерывно выла. Оба брата Мартемьяновы умерли ночью, отравившись грибами.

Услышав робкое: «Федор Пантелеич, как распорядиться похоронами прикажете?» – Федор не сразу понял, что это обращаются к нему. С трудом сбросив с себя тяжелое оцепенение, он поднял еще гудящую голову и увидел, что все в горнице, кроме распластавшейся на полу матери, смотрят на него и чего-то ждут. Он с удивлением переводил глаза с одного лица на другое до тех пор, пока в ответ на его взгляд старший приказчик, старый верный Андронич, не поклонился до земли, как кланялся лишь отцу. Только тогда Федор понял, что является теперь главой дома и хозяином всех мартемьяновских богатств. «Не было у бабы забот – купила баба порося...» – ошеломленно подумал он. Перевел дух и начал распорядиться.

Ночью, когда Федор, смертельно устав от навалившихся хлопот, приготовлений к похоронам и бесконечных разговоров с приказчиками, подрядчиками, попами и докторами, сидел на постели и мучительно соображал: снять ли сапоги или же, не мучаясь, завалиться прямо в них, – за дверью чуть слышно поскреблись. «Кто там трется?» – удивился он. Наступила тишина, и Федор уже решил было, что это шляется кот, когда дверь приоткрылась, и в горницу, мелко переступая, вошла мать. С Федора мгновенно слетела дрема.

– Мамаша?! Вы пошто здесь?

Морщинистое, старое лицо матери, освещенное снизу дрожащей свечой, напугало его. А когда мать приблизилась вплотную и взглянула запавшими, блекло-зелеными глазами в его глаза, у Федора по спине пробежала дрожь.

– Да что с вами, мамаша?

– Феденька... – прошелестела она, хватая его руку своей сухой лапкой и трясая головой. – Феденька, скажи мне... Зачем ты братьев-то?.. Ведь кровь родная... И не забижали они тебя никогда... Ить Афанасий и тебя бы до денег допустил, не изверг же был вроде тятеньки... Зачем же, Феденька?

Несколько мгновений он ничего не понимал и сидел пень пнем, не в силах отвести взгляд от глаз матери. А потом вдруг горло сжала такая судорога, что он не только что-то ответить ей, но даже вздохнуть не смог. Так и вышел из горницы – молча, неловко оторвав от рукава слабые пальцы матери. С лестницы Федор услышал, как она мешком повалилась на пол и зарыдала, но возвращаться не стал.

До утра он проходил по высокому берегу над Волгой, слушая, как сильно плещутся в невидимой черной воде осетры, как ухает сыч в камышах, как кто-то пронзительно воеет на том берегу, в степи, как гудят громады пароходов, перекатывавшихся через быстрину. Смотрел, как дрожат над обрывом низкие синие звезды, как закатывается молодой месяц; тянул носом сырой воздух, растирал в ладонях горькие шишечки полыни. Когда с востока поднялся розоватый свет и посветлела, став серебристой, широкая гладь реки, Федор почувствовал, что грудь отпустило. Чтобы убедиться, он несколько раз глубоко вздохнул, понял, что да, в самом деле, и дышит, и живет. Сорвав мокрый и тяжелый от росы лопух, Федор протер им лицо и пошел домой.

Матери он больше не сказал ни слова. Даже тогда, когда она осенью пришла проситься на постриг в монастырь, Федор лишь кивнул и придвинул к себе расходную книгу, прикидывая, сколько должен будет отдать денег в обитель. И когда полгода спустя получил письмо от игуменьи, уведомлявшее, что инокиня Илария, в миру Евдокия Евлампиевна Мартемьянова, лишилась рассудка и скончалась, он не поехал на ее похороны. Теперь из всей семьи Мартемьяновых остался только Федор.

В городе ходили слухи один другого страшнее. При встрече с Федором Мартемьяновым люди вздрагивали и отводили глаза, торопясь юркнуть в ближайший переулок, а те, кто не успел убежать, низко, в пояс, кланялись. Слухов Федор не опровергал, справедливо полагая, что если уж родная мать посчитала его убийцей братьев, то чего же ждать от чужих, но внутри постоянно чувствовал давящее тяжкое бешенство. Федор терпеливо ждал, что это пройдет само, но – не проходило. Когда же ему начало думаться, что скоро он в самом деле кого-нибудь убьет, Федор, забрав с собой ватагу приказных помоложе и поотчаяннее и бросив дела на Андроныча, отправился с пароходом «Апостол Павел» прочь из города на рыбные промыслы.

Домой Федор Мартемьянов вернулся лишь несколько лет спустя: повзрослевший, сильно раздавшийся в плечах, загоревший и прокоптившийся до черноты, страшно напоминавший своего папашу-ватажника в молодости. Костромичи только крестились, глядя на то, как владелец миллионного состояния, грязный и черный, словно последний бурлак, идет по сходам в цепочке грузчиков, разгружая с парохода кули с солью, рыбой и пушницей. Федор и не замечал, что в коммерческих делах твердо придерживается политики отца: всем заниматься собственноручно, никому не доверять, в долг не давать, самому не брать тем более, воров не отправлять в участок, а казнить лично. В городе его по-прежнему боялись, но Мартемьянова уже не беспокоило это, напротив, теперь он считал, что людские страхи ему лишь на руку, и не так уж ошибался. Мало кто решился бы повести с ним нечестные дела, а уж воровать у Мартемьянова осмелился бы только умалишенный. О тех годах, которые он провел вдали от родного города, ходили самые невероятные разговоры: что Федор ходил в бечеве с бурлаками, охотился на пушного зверя, в степях скупал лошадей у калмыков, сплавлял лес вниз по Волге и воровал лошадей в племенных табунах. Слыша эти сплетни, Мартемьянов только усмеялся в свою цыганскую бороду и смотрел на говорящего черными, без блеска глазами так, что у того язык примерзал к зубам. Но лошади у Федора в самом деле были лучшими в городе. Мартемьянов их любил, знал в них толк и регулярно обновлял свой табун, на зависть всем окрестным конокрадам. Жил он один, держа лишь любовницу-актрису, да и то лишь для того, чтобы не озадачивать коммерческих партнеров, и, услышав как-то осторожный совет старика Андроныча завести себе «почтенную супругу», искренне удивился: «Зачем?!» Заслуженный приказчик не нашелся что ответить, а от взгляда молодого хозяина с ним чуть не случился сердечный приступ, хотя у Федора и в мыслях не было пугать старика. Больше к вопросу о хозяйской женитьбе Андроныч не возвращался.

Ведя обычную жизнь торгового человека, Мартемьянов ходил и в трактиры, и в публичные дома, и к цыганам, прекрасно играл в вист и баккара, помня наперечет, какая карта вышла и какая осталась, заживал даже в театр, искренне пытаясь найти во всем этом хоть какое-то удовольствие, но – тщетно. По-настоящему хорошо он чувствовал себя только в одиночестве или в обществе своих лошадей и годам к тридцати перестал раздумывать, почему так получается. Богу виднее.

Сейчас, поглядывая на веселые пейзажи, пробегающие за окном вагона, Мартемьянов вспоминал, как год назад со своими людьми возвращался через Юхнов с Макарьевской ярмарки. В маленькой деревеньке Грешневке они остановились, чтобы перековать лошадей. А вечером, в грязном деревенском кабаке, выпивая с местным помещиком Сергеем Грешневым, который оказался беднее своих бывших крестьян, Мартемьянов и увидел Софью.

Федор к тому времени уже много выпил, но хмель, чудилось, напрочь вылетел из головы, когда, хлопнув тяжелой дверью, в кабак вихрем ворвалась девчонка – вся мокрая от дождя, испуганная и злая, с растрепанными каштановыми кудрями, с полными слез глазами. О том, что это – сестра Сергея Грешнева, что она прибежала, чтобы увести брата из кабака, где он пропивал последние вещи из дома, Мартемьянов узнал позднее. А тогда просто сидел колодой и смотрел на зеленые погибельные глаза, на смуглое сердитое лицо, на тоненькую фигурку в потрепанном платье, на босые грязные ноги, которые девушка тщетно пыталась спрятать под подолом... Что-то Федор тогда, кажется, говорил ей, что – не вспомнить, хоть убей – пьян был... Почему в руках Софьи оказалась гитара, для чего девушка взялась петь, когда слезы уже бежали по ее щекам, кто попросил ее об этом?.. Она запела «Что ты жадно глядишь на дорогу», и при первых же звуках нежного голоса у Мартемьянова мороз прошел по спине. В упор глядя на зеленоглазую барышню-оборванку, он чувствовал, как делается холодно в груди, как останавливается сердце, не мог отвернуться от смуглого, тонкого, заплаканного лица и со страхом понимал, что ничего подобного с ним не случилось никогда, и откуда ему знать, что теперь с этим делать?..

И все же он был сильно пьян. Иначе, конечно, не пошел бы медведем прямо к Софье, опрокидывая по пути табуреты и скамьи, не сгреб бы ее в охапку, не стал бы, не слушая ее испуганных криков, уговаривать ехать с ним – немедленно, сей же час, сию минуту, куда она пожелает, хоть в Москву, хоть в Париж... Девушка вырвалась, бросив ему в лицо, что он хам и пьяный мужик, и убежала. Мартемьянов не обиделся ничуть, поскольку никогда на правду не обижался, но

про себя уже решил, что красивая босоногая дворяночка будет с ним, во что бы это ему ни обошлось.

Поговорив полчаса с пьяным в стельку братом Софьи, который даже не сделал попытки помочь сестре и после ее бегства так и остался сидеть за столом перед полупустым штофом водки, Федор понял, что все устроится очень легко. Грешневы были невероятно бедны. Их родовое имение, когда-то богатая и блестящая усадьба, пришло после смерти родителей в полный упадок. Темной и мрачной была история генерала Николая Грешнева, отца Софьи, и его невенчанной жены, черкешенки, привезенной офицером с Крымской войны. Фатима безмолвной тенью прожила в родовом имении генерала двенадцать лет, родила ему сына и трех дочерей, а в один из дней Грешнева нашли зарезанным в спальне. Тело самой Фатимы через неделю выловили в реке. Что случилось между ними, так никто и не узнал. Четверо детей остались сиротами. Состояние семьи перешло дальнему родственнику, взявшему на себя опеку над детьми. Старшая сестра отправилась в Смольный институт, а брат Сергей – в Пажеский корпус. Младшие девочки, Софья и Катерина, остались в имении на попечении гувернанток. Заниматься делами и финансами было некому, несколько доходных деревень отдали за долги, а когда вернулся с армейской службы Сергей, с его страстью к карточной игре и пьянству деньги исчезли совсем. За два года он умудрился разорить и себя, и сестер: у Грешневых остался только фамильный дом, да и тот был заложен. Старшая, Анна, к тому времени окончила институт и, к ужасу всего петербургского бомонда, оказалась на содержании у сына собственного опекуна, молодого графа Ахичевского, который увез ее в Москву. Репутация, честное имя и надежда когда-либо выйти замуж за человека своего круга были утрачены для старшей графини Грешневой навсегда. Двери всех порядочных домов Москвы и даже Юхнова закрылись и перед самой Анной, и перед ее сестрами, тогда совсем еще девочками. На деньги, получаемые от своего любовника, Анна содержала брата и сестер. Софья и Катерина бегали в рваных платьях, жили впроголодь, вместе с деревенскими девками копались в огороде, собирали грибы в лесу, шили на продажу белье, прятали по углам от Сергея уцелевшие гроши и понимали, что мечтам о замужестве предаваться бессмысленно.

Услышав все это, Мартемьянов понял, что дело его сладится, и немедленно предложил Грешневу пятнадцать тысяч рублей за сестру. Тот не стал ломаться даже для вида, напротив, обрадовался, уверив купца, что Софья будет только счастлива. Мартемьянов и сам так думал и страшно удивился и растерялся, когда на следующий день посланный им за Софьей человек объявил, что платье барышни найдено на берегу Угры, а сама она, судя по всему, кинулась в реку. В

тот же вечер младшая сестра Грешнева, пятнадцатилетняя Катерина, заперла пьяного брата в доме и подожгла усадьбу. Дом сгорел дотла, Сергея не спасли, Катерину забрали в Юхнов, в тюрьму, а Мартемьянов уехал из Грешневки: делать ему там было больше нечего.

Мысль о том, что Софья жива, появилась у него довольно быстро, потому что своему человеку, нашедшему на берегу Угры платье Софьи, он не поверил ни на грош. Не поверил, хотя не раз убеждался в крепости слова Владимира Черменского.

Федор познакомился с ним несколько месяцев назад, весной, в Костроме, в тот день, когда в конюшне Мартемьянова приказные поймали конокрада. Ловили чертова сына всем обществом очень долго: тот был ловким, как угорь, вывертывался из рук, уклонялся от ударов, прыгал, словно заяц, по двору и, наверное, сбежал бы, не огрей его один из приказчиков оглоблей. После этого конокрада избили до полусмерти, связанного бросили в конюшне, и Мартемьянов еще не успел решить, что с ним делать, а в его «кабунете» уже стоял Владимир Черменский, объявивший, что пойманный вор – его слуга и он готов отдать за его свободу все, что угодно.

Мартемьянову сразу стало понятно, что стоящий перед ним человек – не из простых. Он отличался правильной речью, свободными манерами дворянина и офицерской выправкой, серые глаза смотрели на Федора, которого боялась вся Кострома, спокойно и без страха – несмотря на то, что и он сам, и его слуга-конокрад оказались полностью в мартемьяновской власти. Но одежда на Владимире была бедная, денег у него, как догадался Федор, не имелось. Когда Мартемьянов полушуткой спросил, где его разбойник насобачился так махать руками и ногами, Черменский ответил, что он учил своего слугу сам и что это называется китайской борьбой. Федор заинтересовался: близился долгий конный путь на Макарьевскую ярмарку, в дороге могли случиться любые опасности, и была необходима хорошая охрана. И они ударили по рукам: конокрада по имени Северьян отдадут Черменскому живым и свободным, а за это оба, и хозяин, и слуга, должны сопровождать Мартемьянова и его обоз на ярмарку и попутно обучить людей купца «шанхайскому мордобою».

Именно Черменский поехал по приказу Мартемьянова забирать Софью из дома брата: Федор посчитал, что человек с «господским воспитанием» лучше выполнит столь щекотливую миссию. Владимир нашел платье девушки на берегу реки. Он же первым предположил, что Софья утопилась. И Мартемьянов

ему не поверил. Сам не зная почему. Может, потому, что, несмотря на тяжелый хмель в голове, успел заметить там, в деревенском кабаке, жадный взгляд Черменского, устремленный на Софью. К этому позже подмешалось чисто житейское соображение насчет того, что утопленники обычно прыгают в реку в чем есть, не утруждая себя раздеванием, тем более в осенний холод. К тому же, как Федор потом узнал, из Грешневки бесследно пропала Марфа – верная девка семьи Грешневых, служившая у них без всякого жалованья и очень любившая Софью. Мартемьянов сложил это все в уме и сообразил, что наверняка Черменский и Софья невесть когда успели сговориться и попросту объехали его на кривой кобыле. Впрочем, Владимиру своих мыслей Мартемьянов высказывать не стал и, когда тот месяц спустя, уже после ярмарки, попросил расчета, не удерживал его. Но уверенность в том, что Софья Грешнева жива, уже укрепилась в Федоре. Когда весной, через полгода, Мартемьянов оказался по делам в Ярославле и услышал там о молодой актрисе Грешневой, имевшей бешеный успех в роли Офелии, он даже не был сильно удивлен. Просто убедился, что все-таки, видать, судьба, и начал думать, как сноровистее заполучить Софью. А думать Федор Мартемьянов умел.

...Дверь вагона открылась, и в купе, шатаясь, вошла заспанная Марфа: высокая, рыжая, рябая девка с широкими, как у мужчины, плечами. Неприязненно посмотрев на обернувшегося к ней Мартемьянова, она объявила сиплым басом:

– Так что грех вам, ваше степенство! Какой, прости господи, дрянью нас с барышней напоили? Я насилу-насилу с лавки сползла, а Софья Николавна и посейчас вон почивает! И куда нас черти несут? Обещано было – в Москву, а сами куда нас погрузили?!

Мартемьянов усмехнулся, глядя на насупленное рябое лицо Марфы. Ему показалось, что она его не боится, а такие люди всегда внушали ему уважение.

– За границу едем, милая, – спокойно ответил он. – Уж прости, но ни к чему мне Москва: сбежит там от меня Софья Николавна в первый же день.

– Знамо дело, – подтвердила Марфа, ничуть не удивившись и не испугавшись известию о «загранице». – До сих пор, побей бог, не пойму, как это вы ее уговорили с вами ехать?

Мартемьянов не ответил. Он и сам до последней минуты не был уверен, что задуманная им в Ярославле комбинация увенчается успехом, но... Софья здесь, и она согласилась ехать с ним без принуждения, по доброй воле. Может, все-таки есть какой-то бог на небе?

Марфа с минуту настороженно изучала темное, грубое, словно вырезанное из полена лицо купца. Затем свирепо объявила:

– Софья Николавна у меня – невинная девица, хоть и актерка! Вы уж примите во вниманье эту осторожность!

– Напрасно даже беспокоишься, – в тон ей, стараясь не улыбаться, произнес Мартемьянов. – Я бы на них женился, дак ведь не пойдут же... Они – благородные, а мы – из мужиков.

Он сказал это совершенно искренне, и Марфа, похоже, ему поверила. Помолчав, ворчливо пробурчала:

– Оно, жениться, понятное дело, неплохо бы. Но – не пойдет, это верно.

– Может, поможешь?

– Я Софье Николавне не враг! – вновь оцетинилась Марфа. – Она с вами от одного только горя и сердечного расстройства согласилась ехать, про то и сами расчудесно знаете! И вот что я вам скажу: вы ноги ее не стоите, хоть и видно, что при состоянии хорошем! И тот поганец, который ей голову заморочил, а потом обманул, тем более!

– А говорила – девица барышня... – не утерпел Мартемьянов, хотя и чувствовал, что шутка рискованная. И верно, Марфа тут же вскочила.

– Вот что, ваше степенство, зубья поберегите! Грех вам сирот обижать! Я, конечно, женщина слабая, и заступиться за нас с Софьей Николавной некому, но ежели вы чего себе ненужного дозволите – как есть задушу!

– А силов хватит? – рассмеялся Мартемьянов.

Марфа покраснела и рванула к плечу нанковый рукав, выставляя крепкую, почти мужскую руку:

– А давайте, проверьте, коли не боитесь!

Мартемьянов недоверчиво покрутил головой, но все же подвинулся ближе к столику, по другую сторону которого основательно уселась Марфа. Они поставили локти на стол, крепко соединили ладони – и очень быстро Федор понял, что бороться придется всерьез.

Через минуту проснулась Софья. И в ужасе уставилась на происходящее, уверенная, что это – продолжение ее сна. Федор Мартемьянов и Марфа сидели возле стола одинаково красные, вспотевшие, оскаленные, с напрягшимися на лбу жилами и увлеченно мерились силой.

– Марфа, что ты делаешь, боже мой? – пискнула Софья. Та обернулась – и Мартемьянов немедленно уложил ее руку на стол.

– Не по совести, Федор Пантелеевич! – переведея дух, возмутилась она. – Еще чуть-чуть – и моя взяла бы!

Мартемьянов не ответил ей. Он молча, в упор, без улыбки смотрел на Софью. Марфа перевела взгляд с него на свою барышню. Сдвинула брови, опустила задранный рукав и шагнула к двери.

– Марфа... – окликнула ее Софья.

Та тут же остановилась.

– Прикажете остаться?

– Ступай, – велел Мартемьянов.

Марфа, казалось, не слышала, продолжая смотреть на Софью. Та, помедлив, кивнула, но ее смуглое лицо стало изжелта-бледным, и Марфа угрюмо предупредила:

– Я недалече буду.

Когда дверь за ней закрылась, Софья вновь посмотрела на Мартемьянова, и тот, чувствуя, как поднимается к горлу знакомая горячая волна, подумал: как же она хороша, даже когда пугается. Глаза зеленущие, громадные, как у лесной мавки[1 - Славянские мифические существа, имеющие много сходств с русалками.], про которых еще бабка сказывала... Перекреститься хочется, в них глядя.

– Куда вы меня везете? – спросила она, и Федор видел, как дрожат ее пальцы, которые Софья безуспешно пыталась сжать в кулаки. – Я ничего не понимаю. В Москву? Почему я так долго спала? Почему ничего не помню?

– Через два часа в Варшаве будем, – пояснил Мартемьянов. – А через три дня – у австрияков.

– Но почему?!. – испугалась она. – Вы обещали – в Москву...

– Дела мои переменялись, – соврал зачем-то он, хотя и подумал тут же: глупо, Марфа ей расскажет... – Да и вам полезно будет на Европы-то взглянуть.

– Но я вовсе не хочу... Господи... – Софья рванулась было к двери – и тут же села обратно. Сгорбилась, закрыла лицо руками. Каштановые полураспущенные пряди волос тяжело упали вниз, и Федор понял, что сейчас, глядя на них, просто задохнется. С огромным трудом совладав с собой, он подошел, тронул Софью за плечо и почувствовал, как она вздрогнула и сжалась.

– Не бойся, Софья Николавна, – спокойно сказал он, и один бог знал, чего ему стоило это спокойствие. – Я не ирод какой печенежский. Силком не возьму.

Софья подняла голову, и зеленые мокрые глаза заблестели прямо ему в лицо. К восхищению Федора, она ответила еще спокойнее, чем он:

– Мне от вас милости не надо. Я с вами поехала, слово дала, – значит, и все права ваши. Бояться мне нечего. Хуже, чем есть, все равно уж не будет.

– Молодец, матушка, – с искренним уважением проговорил Мартемьянов. – Только вот хуже-то всегда может быть... Но не от меня. На том присягнуть могу. Ты сейчас, ежели желаешь, дальше спи, а нет – погоди, поесть тебе принесут. Я, коли нужен буду, здесь рядом, за стеночкой. И не бойся ничего. Христос свидетель – пальцем не коснусь супротив твоей воли.

Софья недоверчиво взглянула на него. Мартемьянов встал, коротко поклонился ей и, не оглядываясь, вышел. Дверь едва успела закрыться – и в нее тут же вихрем влетела Марфа:

– Ну что, барышня, что?! Не забидел этот лешак?!

– Уймись, Марфа... – со вздохом произнесла Софья, взобравшись с ногами на диван и обхватив колени руками. – С чего ты взялась с ним на кулаках мериться? Ведь и так понятно, что сильнее он...

– Кому это понятно?! – оскорбилась Марфа. – Мне – так ничего понятно не было! Это вовсе даже и в первый раз такой конфуз со мной, что мужик переборол! Но, ежели надо, я вас все равно очень просто от него отобью... Ишь, нечистый, какой-то дрянью напоил, дак даже я, как гренадер, спала, а уж вы-то...

– Незачем отбивать, – равнодушно прервала ее Софья. – Назвался груздем – полезай в кузов. Я сама согласилась – так чего ж теперь брыкаться...

– Так, может, и не надо было соглашаться, Софья Николавна? – осторожно спросила Марфа, усаживаясь рядом. – Что вам в Ярославле не жилось? Ведь и деньги у нас с вами завелись! И какая большая актриса стали! И Афелю, и эту вашу... Дыздымону играли! Какие к вам люди ездили-то!

– Такие же, как этот, и ездили. Помнишь, как граф Игорььев содержание предлагал? И тот... из купцов который тоже... «без счету на булавки»... – по лбу Софьи скользнула горькая морщинка, и Марфа тоже нахмурилась.

– Ну, так это ж и понятно... Актриса, известное дело... Завсегда этак-то было, вам и Марья Аполлоновна сказывала, помните?

– Помню, – сухо ответила Софья. И больше не сказала ничего. Молчала, искоса поглядывая на нее, и Марфа.

За окном спустились голубые весенние сумерки, из-за дальних пологих холмов встала золотистая щербатая луна, все спешащая и спешащая за поездом. Марфа давно храпела в углу вагонного дивана, а выпавшаяся днем Софья сидела у окна и смотрела на то, как луна пробирается сквозь легкие кучки ночных облаков. Устало и спокойно думала о том, что, наверное, поступила правильно. Рано или поздно все равно этим бы кончилось, не сидеть же до седых волос и ждать, пока явится жених как из французского романа... да и кто бы согласился взять ее замуж – бесприданницу, актрису?.. Как она могла всерьез мечтать о Владимире Черменском? Как могла поверить?.. Софья грустно усмехнулась, закрыла глаза и в который раз представила себе лицо Черменского – спокойное, твердое, сероглазое. Они были знакомы всего одну ночь, и черты этого лица постепенно стали стираться из памяти – может, и к лучшему... Владимир спас ее, когда она, задыхаясь от ужаса и отчаяния, упала в ледяную воду Угры... Лучше бы не спасал. Не было бы сейчас ничего – и слава богу.

Но он спас ее. И сказал, что таким способом ничего нельзя решить. И убедил Софью, что нужно жить, что бы ни случилось, и придумал, как и где ей скрыться от Мартемьянова, и дал письмо к знакомому антрепренеру, заявив, что из нее получится прекрасная актриса. Она тогда не поверила ему, потому что ни разу за всю свою нищую жизнь не была в театре даже зрительницей, а уж актрисой... Но выбирать не приходилось, и Софья в сопровождении верной Марфы украдкой на рассвете покинула Грешневку. Владимир не мог сопровождать девушку, но пообещал, что отыщет ее, как только закончит службу у Мартемьянова. Ни слова о любви не было сказано между ними, ни одного нескромного взгляда не было брошено, не прозвучало никаких клятв и обещаний... Но почему-то всю осень и зиму Софья вспоминала этот спокойный уверенный голос и серые глаза на темном от загара лице. Вспоминала – и на сердце делалось легче.

Первое письмо от Черменского пришло ранней весной, когда Софья уже играла в ярославском театре. Владимир писал о том, что долго искал ее, найти не сумел и, на свой страх и риск, явился в Москву, прямо в дом к Анне – старшей сестре Софьи. Явился, чтобы просить Софьиной руки. Крайне изумленная Анна без согласия самой Софьи, разумеется, ничего не стала обещать, но адрес младшей сестры Владимиру все же дала. Письмо было сумбурным, взволнованным и – полным любви. Всю ночь Софья читала и перечитывала его – первое любовное письмо в своей жизни, и впервые за долгое-долгое время чувствовала себя

совершенно счастливой. Черменский уверял, что вскоре приедет за ней, но... прошла неделя, другая, третья – а его не было. Не было больше и писем. Сначала Софья волновалась, потом – недоумевала, затем – злилась на себя... а под конец наступило тоскливое безразличие: и он такой же, как остальные... Может быть, этим разочарованием все бы и закончилось. Но вчера вечером (а кажется – давным-давно...), когда Софья в своей уборной гримировалась перед выходом на сцену, к ней ворвалась актриса Маша Мерцалова, ее подруга, и таинственным шепотом сообщила, что в гостинице «Эдельвейс» Софью ждет интересующее ее лицо. Софья чуть не умерла от счастья, поскольку была уверена, что наконец-то приехал Черменский, и сразу после спектакля помчалась в «Эдельвейс». Но вместо Владимира в полутемном гостиничном номере ее встретил тот, кого она боялась больше смертного часа, – Федор Мартемьянов.

Вспомнив вчерашний вечер в «Эдельвейсе», Софья невольно передернула плечами. И подумала, что нужно все же отдать должное Мартемьянову: он не воспользовался ситуацией, когда она, перепуганная до смерти, не имеющая сил даже для того, чтобы закричать, смотрела на него, как зайчик на серого волчища. Спокойно, уверенно и по-деловому он объяснился ей в любви. На робкое заявление Софьи о том, что она-то его ничуть не любит, ответил, что это дело времени, а в крайнем случае, можно будет обойтись и одним его чувством. Между прочим заметил, что Владимир Черменский недавно схоронил батюшку и весьма занят свалившимся на него огромным наследством, а посему вряд ли нуждается теперь в невесте-бесприданнице и к тому же еще актрисе. Софью возмутило это заявление до глубины души, но возразить ей было нечего. Собрав все мужество, она поднялась, чтобы уйти, – Мартемьянов не стал мешать, сказав только, что ждет ее решения. Софья сломя голову помчалась домой, чтобы потребовать объяснений от Маши Мерцаловой, с которой они снимали один дом на двоих, и получила их сполна.

Марья Мерцалова была лет на семь-восемь старше подруги – прекрасная трагическая героиня, брюнетка цыганского типа с великолепными черными глазами. В середине сезона ей пришлось оставить сцену из-за беременности, которую уже не скрывали тугие корсеты. Марья помогала Софье готовить роли, давала кучу житейских советов о том, как вести себя с коллегами, поклонниками и антрепренером, деликатно намекала, что без сильного и богатого покровителя жизнь актрисы становится сплошным мучением, и искренне смеялась, глядя на негодующее лицо подруги: «Боже мой, молодая ты какая еще!»

Но в тот вечер, когда Софья вернулась из «Эдельвейса», Марья не смеялась. Спокойно, без капли смущения глядя на взволнованную подругу своими огромными цыганскими глазами, она созналась, что полгода назад, в Костроме, была любовницей Черменского, более того – они жили как муж и жена, и беременна Мерцалова именно от него. Софья не поверила. Марья невозмутимо предложила ей посчитать срок. Так же непринужденно созналась, что украдкой прочла письмо Черменского к Софье и все эти дни, как и подруга, ждала новых писем, которых не было. «Только месяц назад еще одно пришло. Я почтальона перехватила, у меня оно. Уж прости, что тебе не отдала, – боялась, повесишься еще по молодости...»

Вспомнив это, Софья медленно, горько вздохнула. С минуту прислушивалась к себе и, только поняв, что слез нет и не будет, достала серый лист плохой гостиничной бумаги с несколькими строчками, написанными знакомым, еще недавно таким дорогим почерком:

«Прости меня. В случившемся виноват лишь я один. Не буду писать об обстоятельствах, вынуждающих меня не видеться с тобой, но поверь, они имеются. Лучше нам не встречаться более, наши отношения не могут иметь никакой будущности. Ты прекрасная женщина и актриса, я уверен, ты будешь счастлива с более достойным человеком. Прости. Прощай. Владимир Черменский».

Да, сейчас она не плачет. А вчера, прочитав эти строки, Софья едва смогла дойти до своей комнаты и упасть лицом в подушку. Но уже через час встала с сухими глазами и набросала короткую записку к Мартемьянову, в которой соглашалась на все его условия. Возможно, это было слишком поспешное решение. Но Софья твердо знала, что должна поступить именно так – хотя бы для того, чтобы опять не броситься в реку, из которой теперь уже некому ее вытаскивать. В театре ей больше нечего делать, хорошей актрисой она себя никогда не считала и никакого удовольствия, выходя на сцену, не испытывала, играя роль так же, как выполняла любую другую работу. Никто, кроме разве что Марфы, не знает, что успешно дебютировать в роли Офелии она, Софья Грешнева, смогла лишь потому, что накануне получила письмо Черменского и всю ночь промечтала о счастье. Не приди это письмо – провалилась бы роль. А значит, вовсе Софья не актриса, что бы там ни писали газеты о ее таланте и великолепном голосе... Видеть Марью было теперь невыносимо, при мысли о поклонниках, которые осаждали Софью днем и ночью, к горлу поднималась волна тошноты. Нужно, непременно нужно уезжать отсюда.

Марфа, которая, как предполагала Софья, должна бы сопротивляться до последнего, посмотрев на бледное и решительное лицо своей барышни, только махнула рукой и пошла увязывать узел. Через час у дома остановился экипаж Мартемьянова, еще через час они сели в поезд, Мартемьянов предложил вина, Софья, которой было уже все безразлично, согласилась, выпила странно пахнущей терпкой жидкости и... намертво заснула.

Луна нырнула в черное облако и пропала. В купе стало темно, и стук колес, казалось, зазвучал отчетливей. Откинувшись на жесткую спинку дивана, Софья закрыла глаза. С горькой усмешкой подумала, что, видать, от судьбы все-таки не убежишь. А судьба, выходит, – этот самый «человек торговый» Федор Мартемьянов, при взгляде на которого у нее мурашки скачут по спине... но ничего уж тут не поделаешь. Все равно она с ним оказалась – не тогда, осенью, так сейчас... значит, так тому и быть. И пусть везет куда хочет. Теперь уже ничего не изменить. Вот только сестре, Анне, надо непременно написать. Она и напишет, как только окажется... хоть где-нибудь. Подумав о том, что с Мартемьянова станется увезти ее вовсе не за границу, а, к примеру, к себе в Кострому и запереть там в своем доме, как наложницу, Софья усмехнулась – теперь ее уже ничем не удивишь, не испугаешь – и почти тут же заснула под размеренный стук колес.

Такого отвратительного мая, как этот, пришедший в Москву в 1879 году, столица не видела давно. До сих пор на бульварных кленах и липах не распустилось ни одной почки, и раздетые деревья жалобно гудели на пронзительном ветру черными сучьями, которые беспрестанно поливал ледяной колючий дождь. Из-за обложивших небо туч темнело рано, небо наваливалось на город свинцовым брюхом, ветер свистел в подворотнях Грачевки, задирая подолы проституток и унося шляпы и картузы поздних прохожих, извозчики ежились, осипшими голосами орали на лошадей и требовали с пассажиров вдвое дороже «за непогодь».

В доме графини Анны Грешневой в Столешниковом переулке горели все окна: был в разгаре «приемный вторник» хозяйки. В гостиной сверкал паркет, отражая пламя бесчисленных свечей; сильно, немного больше, чем позволяли приличия, пахло духами, красные бархатные портьеры и такая же обивка кресел и диванов, казалось, источают тепло не хуже облицованной изразцами печи. Только что закончились танцы, несколько мужчин в офицерской форме покинули гостиную ради виста в соседней комнате, но большинство предпочло остаться и продолжить легкий, ни к чему не обязывающий флирт с дамами. Последних

было, не считая хозяйки, шесть – очень молодые, очень веселые, очень нарядные, чрезмерно громко смеющиеся, с легкими вольностями в туалете вроде заниженного декольте или высоко поднятого рукава. Девушки непринужденно вели разговор с мужчинами, смеялись, просили принести пирожных или чаю, фланировали по гостиной, присаживались на диваны, на ручки кресел. Обстановка была дружеской, домашней и неуловимо фривольной, хотя назвать ее вульгарной не повернулся бы язык даже у самого яростного ревнителя приличий. Что и говорить, графиня Грешнева умела устраивать свои вечера. И, хотя ни один из ее гостей не рискнул бы рассказать в кругу семьи, что бывает на вторниках графини, слава о них не так давно загремела на всю Москву. Очень немногие принимались в этом доме. Среди гвардейской золотой молодежи теперь считалось высшим шиком небрежно обронить в разговоре с друзьями: «Вчера у Грешневой пили ай... Tres bien! Лучше вина были только дамы!» – и завистливые взгляды вместе с жадными вопросами возносили счастливого на небеса. «Дамы» госпожи Грешневой действительно оказывались редкостными, хотя ни одну из них, включая хозяйку дома, не приняли бы в приличных домах Москвы. Впрочем, подобные вещи перестали беспокоить Анну давным-давно.

– Господа, господа, давайте играть в фанты! – зазвенел из-за фортепьяно голосок самой юной барышни, маленькой, розовой блондинки Колетты. – Кто не угадает – несет меня на руках за пирожными!

Дружный взрыв смеха приветствовал эту затею, даже картежники, выглянув из соседней комнаты, так и не вернулись к ломберному столу. Возле фортепьяно тут же собралась толпа молодых мужчин, Колетта запела шансонетку, безбожно коверкая слова, и было очевидно, что французского языка она не знает и этот прискорбный факт мало ее беспокоит. Хозяйка, наблюдавшая за происходящим от окна, чуть заметно нахмурилась и жестом подозвала одну из девушек:

– Одель, скажите КоLETTE, чтобы прекратила этот фарс. Подобное годится только для cabaret... И еще передайте, чтобы не смела больше пить. Пусть оставит в покое инструмент и потихоньку уйдет к себе.

– Да, мадам. Что, если корнет Кураев захочет уйти с ней? Извольте видеть, он...

– Она сама знает, что ей делать.

– Да, мадам. – Одель поспешно подошла к роялю. Через минуту слегка смущенная Колетта уже пробиралась к выходу из гостиной, а за ней решительно двигался молодой человек в форме Преображенского полка. Уже на пороге Колетта остановилась, неожиданно строго улыбнулась юноше и тихо, но четко произнесла:

– Нет, нет и нет! Извольте меня оставить!

– Но, Колетта!..

– Ах, да ради бога! У меня голова кружится... Это все вы с вашим шампанским! Завтра, завтра! – картинно поднеся руку к голове, она скрылась в темноте передней.

Обескураженный корнет вернулся в гостиную и был тут же встречен незаметным для других жестом хозяйки, поманившей Кураева в диванный уголок. Они говорили недолго, но юноша встал повеселевшим, лихо чмокнул запястье графини и поспешил к роялю, за которым уже царствовала Одель с модным в этом сезоне романсом «Ветка сирени». Романс требовал второго голоса, гости шумно и весело принялись звать графиню, обладающую неплохим меццо-сопрано, но Анна, сославшись на простуду, отказалась и снова вернулась к окну.

Это была молодая женщина со строгим лицом, к которому очень шла улыбка, но улыбалась графиня редко и потому выглядела старше своих двадцати трех лет. По Москве о ней ходили легенды, Грешневу сравнивали и с мадам Помпадур, и с Нинон де Ланкло, и даже с Таис Афинянской, но очень немногие знали ее близко. Наверняка было известно лишь одно: Анна – действительно графиня и принадлежит к старинному, но впавшему в крайнюю бедность дворянскому роду, который уже давно преследуют несчастья.

Полгода назад, осенью, в Угрю кинулась средняя из сестер Грешневых, Софья, проигранная пьяным братом в карты заезжему купцу, а младшая, Катерина, узнав о ее гибели, заперла хмельного брата в доме и подожгла его. Вспоминая сейчас об этом, Анна подумала, что Катя всегда вела себя как дикарка. В отличие от нее, Анны, которая успела закончить Смольный, и Софьи, получившей хорошее, хоть и несколько беспорядочное домашнее воспитание, младшая Грешнева была все детство предоставлена самой себе. Софья кое-как

смогла выучить ее читать, считать и говорить по-французски, а Марфа научила весьма неплохо шить и вышивать, но и только. С утра до ночи Катерина, босая с марта по ноябрь, носилась по окрестностям Грешневки, пропадала в лесу, вместе с деревенскими купалась в Угре, собирала ягоды и грибы, дралась с парнями, которые боялись ее недобрых зеленых глаз, становившихся в схватке совершенно бешеными, и мечтала об одном: отправить на тот свет пропойцу брата, из-за которого пошла прахом вся жизнь сестер Грешневых. Что ей, наконец, и удалось.

Старшая сестра примчалась в Грешневку, когда уже ничего нельзя было исправить. Дом сгорел, то, что осталось от Сергея, похоронили, а Катерину забрали в участок. Анна кинулась к своему покровителю, Ахичевскому, тот использовал все имеющиеся связи, чтобы избавить Катерину от тюрьмы, и юную преступницу поместили в Мартыновский приют для девиц простого звания. Через несколько месяцев она сбежала оттуда, прихватив значительную сумму денег из кабинета начальницы, и с тех пор о младшей Грешневой ничего не было слышно. «Подумайте, какое кошмарное семейство, какие дикие страсти! – ужасались дамы в московских салонах. – Вот оно – черкесское наследие! Вот она – янычарская кровь! Что же вы хотите – испорченность у этих грешневских девиц в крови!» Мужчины вежливо соглашались и втихомолку мечтали о том, как вечером в театральной ложе или кабинете ресторана будут целовать руку старшей графини Грешневой, которая, несмотря на «испорченность» и «дурное наследие», единодушным мужским мнением признавалась первой красавицей Москвы. Петр Ахичевский любил вывозить свою камелию на люди, ничуть не скрывал и даже гордился связью с такой великолепной женщиной. Анна с успехом принимала друзей любовника в своем доме в Столешниковом переулке, где всегда было шумно, весело и многолюдно. Но месяц назад, в самом начале весны, случилось неизбежное: Ахичевский решил жениться. Его невеста, невзрачная девица из известнейшей аристократической семьи, лично приехала к Грешневой в дом и без обиняков предложила содержанке будущего мужа десять тысяч рублей – с тем, чтобы та никогда более с ним не виделась. Поразмыслив, Анна согласилась. Дом в Столешниковом переулке любовник великодушно оставил ей вместе со всей обстановкой, драгоценностями, выездом и солидной суммой денег. Сам он там больше не появлялся – но, несмотря на это, салон Анны процветал. Никто не знал, откуда в нем появлялись знаменитые «кузины графини Грешневой» – как их называли в узких кругах. Это были шесть-семь девушек, довольно образованных, умеющих танцевать, петь, играть на фортепьяно, поддерживать веселую беседу и даже разговоры о поэзии. И тем не менее они отличались от барышень света, любая шалость с которыми неизбежно вела к женитьбе. В салоне Анны Грешневой о подобных мужских ужасах и речи

быть не могло. Гости прекрасно проводили время с веселыми, красивыми, умными «кузинами», но дать добро на продолжение связи имела право лишь сама графиня – и это стоило значительных денег. За два месяца существования салона уже три девушки покинули его ради предложенного содержания. Но на их место тут же пришли другие, такие же красивые и беззаботные. Хозяйка присутствовала на каждом вечере, танцевала, пила вино, беседовала с гостями или садилась с ними за карточный стол, но никого не выделяла. Они могли бы держать пари, что покровителя Анна Грешнева не имеет и, несмотря на свою молодость, ведет все дела и расчеты сама. Неоднократно делались попытки занять вакантное место возле графини, но каждый раз безуспешно. Наиболее романтичные из поклонников Грешневой уверяли, что мадам по-прежнему страдает из-за покинувшего ее ради богатой жены любовника. Циники и скептики возражали, считая, что при своем уме графиня вовсе не нуждается в советнике мужского пола, да и легкомысленный Ахичевский не потянул бы такой роли. Сама Анна, слыша это, не говорила ни «да» ни «нет» и прекращала сплетни одной лишь холодной улыбкой.

Время перевалило за полночь, но в гостиной были в разгаре танцы. За роялем теперь сидела Анита – черноглазая худая барышня, одетая в испанский наряд. Несколько пар вертелось на паркете в венском вальсе. В прихожей Одель повязывала шаль, готовясь уехать с немолодым полковником Времеевым, который тихо договаривался о чем-то с Анной. В зеленой комнате возобновился вист. Анна, проводив князя с Оделью, вернулась в гостиную и подошла к одному из гостей – седому человеку лет пятидесяти в мундире статского советника, с угольно-черными густыми бровями, из-под которых следили за происходящим вокруг узкие, карие, внимательные глаза. Над левой бровью неровной полосой тянулся шрам. Когда Анна приблизилась, гость не изобразил намерения подняться и прямо из кресла поцеловал узкую, унизанную кольцами руку хозяйки.

– Весело у вас, Анна Николаевна, – низким, тяжелым голосом сказал он.

– Вот непохоже, что вы веселитесь. – Анна присела рядом. – За весь вечер и не поднялись ни разу. Ну, что танцевать вы, Максим Модестович, не станете, я знала. Но что же вы в вист партию отказались сделать? И Колетта вас спеть просила – не осчастливили...

– Помилуйте, Анна Николаевна, я ведь не бас Бардини... – усмехнулся Максим Модестович.

– А вино? Вам не нравится мое бордо? Вы с одним бокалом весь вечер сидите...

– И достаточно, уверяю вас. Чрезмерное питье в моем возрасте и при моей должности смерти подобно. Вон и Владимир Дмитрич Черменский ничего не употребляет. Мы с ним ведем занимательную беседу о нашей доблестной армии, и, не поверите, этот юноша уверяет, что российские солдаты абсолютно ни на что не годны!

– Вы неверно меня поняли, Максим Модестович, – спокойно возразил молодой человек лет двадцати шести в форме капитана пехотных войск. – Я имел в виду не солдат, а офицерский состав. Я имел честь два года служить в Николаевском полку и, поверьте, знаю, о чем говорю. Пьянство, разврат и рукоприкладство на плацу – вот что составляет жизнь российского офицера в глубинке. И при этом – полная беззащитность и бесправие солдат. Если правительство не предпримет необходимых шагов...

– Помилуйте, друг мой, но ведь это всегда было... – пожал плечами Максим Модестович. – И при Павле, и при Николае Павловиче, и при обоих Александрах, и сейчас... И пьянство, как вы изволите утверждать, и разврат, и... м-м... рукоприкладство. Но тем не менее – победы над Наполеоном! И первая Крымская война, в которой с таким блеском участвовал ваш батюшка, генерал Черменский, с которым я имел честь быть знакомым! И вторая Крымская...

– При последней Крымской кампании я сам был в действующей армии. – В светлых серых глазах Черменского появилась откровенная ирония. – Уверяю вас, за происходящее в войсках было просто стыдно! Ничего позорнее Сан-Стефанского мира даже припомнить не в состоянии. А между тем мы могли бы добиться победы с куда меньшими потерями. Чего стоит хотя бы Плевна, которую Скобелеву не дали взять! У нас, к сожалению, не берегут солдат... Привыкли кидать шапки да орать: «За веру, царя и отечество!» А между тем...

– Владимир, ради бога... – чуть слышно сказала Анна, касаясь рукава молодого человека.

Черменский нахмурился, замолчал. Максим Модестович тихо рассмеялся:

– Аннет, Анна Николаевна... Ну, что вы... Вам ли не знать, что все, говорящееся в этих стенах, в них же и останется. Это лишь светская болтовня!

Анна вежливо улыбнулась, хотя взгляд ее, встретившийся с серыми глазами Владимира, выражал тревогу и озабоченность. Тот улыбнулся в ответ, посмотрел пристально.

– Скоро, скоро... – чуть слышно шепнула Анна и, извинившись, отошла к роялю. Черменский украдкой вздохнул, и Максим Модестович, внимательно наблюдавший за молодым человеком, заметил тень нетерпения, пробежавшую по его смуглому обветренному лицу, и брошенный им взгляд на часы. Но тем не менее Владимир спокойно продолжил отвечать на вопросы своего визави о второй Крымской войне.

Гости распрощались поздно. Анна сама вышла проводить довольно пьяного корнета Кураева, передала его с рук на руки ожидающему кучеру, вернулась в гостиную, с легким недоумением взглянула на пустое кресло Максима Модестовича – тот исчез не простившись – и облегченно опустилась в него.

– Слава господу... Хоть на сегодня все. Анита, что с тобой?

– Спит, – ответил вместо той Владимир Черменский, стоящий возле рояля и глядящий на спящую сидя девушку. Черная голова Аниты лежала на полированной крышке инструмента. Дыхание было тяжелым, хриплым.

– Странно она дышит... У нее не чахотка, случаем?

– Похоже, что да.

– Зачем же она... – Владимир нахмурился. – Она же весь вечер танцевала, пела... Ведь это, должно быть, вредно?

– Разумеется. Поэтому и пела. Ей надо спешить. Если она с умом возьмется за этого дурака Брагинского, тот быстро потеряет голову и повезет ее туда, куда нужно. В Крым, на воды, а еще лучше – на южное побережье Франции. Мы с Анитой очень торопимся. Обратили внимание на платье? Я заказывала ей сама, на свои деньги... Отнесите ее в мою спальню, Володя. И поскорее

возвращайтесь.

Черменский молча поднял на руки спящую девушку и вышел с ней из комнаты. Вскоре он вернулся. Анна стояла у окна в пустой гостиной. Единственная лампа на столе освещала молодую женщину сбоку. Оконное стекло было залито дождем, и Анна задумчиво водила пальцем по извилистым следам капель.

- Не проснулась? - не оглядываясь, спросила она.

- Нет... Я старался быть осторожным.

- Вы осуждаете меня, Володя?

- Я - вас? - Владимир тоже подошел к окну. - Вы знаете, что нет. Даже если бы имел на это право... Я мало знаю о вашей жизни, но то, что мне известно... Немногие бы это выдержали, Анна Николаевна. Даже мужчины. Ваш покойный брат - не смог. А вы не только удержались сами, но и пытались вытащить сестер.

- И не смогла...

Черменский резко повернулся к ней. Анна встретила его прямым горьким взглядом.

- Итак?.. - преувеличенно спокойным голосом начал Владимир. - Вы пригласили меня сегодня, чтобы сообщить появившиеся новости о Софье Николаевне? Я верно понял?

- Да, все так. Вчера пришло письмо.

- Она?..

- Соня за границей, - вздохнув, прошептала Анна. - В Австрии, в Вене. Володя, она с Мартемьяновым.

Черменский ничего не сказал и даже не изменился в лице. Но в косо падающем свете лампы Анна увидела, как дернулся желвак на его скуле. Через мгновение

Владимир медленно опустился в кресло, и его лицо полностью пропало в темноте. Несколько минут в комнате стояла полная тишина, нарушаемая лишь треском фитиля лампы и стуком дождя в окно.

– Анна Николаевна, я понимаю, что переступаю все границы воспитания, – наконец хрипло произнес Черменский. – Но... не могу ли я увидеть это письмо?

– Можете. – Анна положила на стол смятый лист бумаги. – Но, боюсь, это ничего не объяснит вам.

Владимир быстрым движением поднес листок к лампе и сразу же понял, что Анна имела в виду. Письмо состояло всего из нескольких строк: «Аня, я жива, здорова, нахожусь в Вене с Федором Мартемьяновым, о коем тебе рассказывала. Прости и не волнуйся, при первой же возможности напишу снова. Остаюсь твоя сестра Софья Грешнева. P.S. Нет ли новостей о Кате?»

Пробежав глазами эти строки, Черменский опустил письмо на стол и сквозь зубы проговорил:

– Не понимаю, – как ему это удалось?

– Я тоже, – со вздохом отозвалась Анна. – Видит бог, не знаю. Володя, вы же хорошо знакомы с этим Мартемьяновым, вы же, кажется, служили у него? Мы с вами никогда прежде не говорили об этом, я боялась быть назойливой, но... Если мои вопросы кажутся вам бестактными, вы, разумеется, вправе не отвечать. Вы находились в услужении у этого купца?

– Не совсем так, Анна Николаевна, – отрывисто ответил Черменский. – Честное слово, если бы не Северьян, я бы ему даже руки не подал.

– При чем тут ваш Северьян? – удивилась Анна. – Кстати, сделайте ему внушение, он не дает проходу моей Фекле на кухне, она все время жалуется... Северьян ведь ваш слуга... И по-моему, страшный разбойник!

– Совершенно верно. И конокрад в придачу, – невесело рассмеялся Владимир. – Только он мне, видите ли, не слуга, а друг. Я его отбил от мужиков в нашем имении, он пытался увести лошадей, а ребята его поймали, и... В общем, я

подоспел в последний момент. Так и познакомились. Я тогда учился в юнкерском, он – просто бродяжничал... Но, когда я покинул имение отца, Северьян ушел со мной. И, честное слово, без него мне пришлось бы худо.

– Вы никогда не рассказывали об этом, – медленно произнесла Анна. – Зачем вам понадобилось уходить? Без денег, даже, кажется, без паспорта, не объяснившись с отцом? Уходить в никуда? Для этого должна быть очень весома причина.

– Она имелась, поверьте, – помедлив, проговорил Черменский. – Когда-нибудь я непременно вам расскажу. В общем, мы с Северьяном отправились бродяжить. Мне было двадцать два, я чувствовал себя счастливым оттого, что больше не вернусь в армию, полковую службу я терпеть не мог, в академию поступил только из уважения к отцу... Мы занимались чем придется, ездили по России, работали грузчиками, матросами, потом я совершенно случайно попал в театр в Костроме, зацепился там на целый сезон... Не поверите, играл даже Рауля в «Разбойниках»! И, как меня убеждали, имел успех!

– Зачем же сцену оставили? – невольно усмехнулась Анна.

– По причине полной своей бездарности, – в тон ответил Владимир. – А если серьезно... Там, в Костроме, я и познакомился с Мартемьяновым. Его знает весь город, и, надо сказать, это довольно дурная слава. Огромное богатство, пароходы, племенные лошади, лавки, магазины... И при этом – замашки грабителя с большой дороги! Дикий, едва грамотный, и не дай бог, если что не по нему... Ходили слухи, что он отца и братьев на тот свет отправил из-за наследства... но не буду врать, не знаю, насколько это истинно. И вот Северьян, болван, решил увести у Мартемьянова какого-то призового ахалтекинца, он с ума по ним сходит.

Анна ахнула, поднеся руку ко рту.

– Но как же он решился?!

– Говорю же вам – болван... Он привык так жить – или пан, или пропал, и до сих пор все такой же... Разумеется, попался, его изметелили до полусмерти, к счастью, не убили... Я опять успел вовремя. И – согласился на предложение Мартемьянова. Он оставляет жизнь моему жулику, а я взамен учу его

приказчиков китайской борьбе.

- Чему?..

- Китайской борьбе, - вежливо повторил Черменский. - Или, если вам угодно, в терминологии Северьяна - «шанхайскому мордобою». Он ведь оттуда, мой Северьян, из Шанхая, отец - китаец, мать - румынка, кажется, он сам не знает точно, поскольку почти ее не помнит...

- Кто бы мог подумать! Я уверена была, что он - цыган... Еще удивлялась, как вы его приручили...

- Северьян сам китайской борьбой владеет в совершенстве, в свое время научил и меня, и именно это нас спасло. Мы с ним перекрестились и пошли в услужение к Мартемьянову.

- Боже мой... - пробормотала Анна. - Русский дворянин, офицер российской армии - и в прислугах у мужика...

- Ну-у-у, Анна Николаевна... Я в тот момент о таких высоких материях вовсе не думал. Просто радовался, что сумел выручить Северьяна... да и возиться с мартемьяновскими молодцами было не так уж трудно. Северьян их кидал, как кули с мукой, через спину, да и я не отставал. Вместе с Мартемьяновым мы отправились на Макарьевскую ярмарку, на обратном пути остановились в Грешневке... и там я имел честь познакомиться с Софьей Николаевной.

Черменский отвернулся к черному окну. Перед глазами явственно, словно это было вчера, а не полгода назад, встало лицо купца Федора Мартемьянова - грубое, темное, с черными упорными глазами. И тот осенний день, когда у них захромала правая пристяжная и им пришлось задержаться в глухой деревне Грешневке на высоком берегу Угры, тоже помнился отчетливо. И стоял перед глазами душный, освещенный тусклым желтым светом кабака, где Мартемьянов начал карточную игру с местным помещиком, который был сильно пьян и играл из рук вон плохо. И никогда не исчезнет из памяти тот миг, когда распахнулась дверь и в кабак ворвалась мокрая от дождя, с полураспустившимися волосами, в заплатанном платье, с босыми ногами... - она, Софья. Десять лет пройдет, двадцать, пятьдесят, вся жизнь... не забыть. Не забыть этих вьющихся мокрых волос с запутавшимися в них желтыми листьями, этих зеленых глаз, этого

смуглого нежного испуганного лица. Софья пришла, чтобы увести из кабака непутевого брата. Откуда девушке было знать, что все на свете перевидавший, не боящийся ни бога ни черта Федор Мартемьянов потеряет голову, едва ее увидев?

– Бедная моя... – словно угадав мысли Владимира, медленно произнесла Анна. – Она ведь в самом деле тогда кинулась в Угру...

– Мне ли не знать, когда мы с Северьяном ее вытаскивали, – сквозь зубы сказал Владимир. – До сих пор благодарю бога, что успели. Но, к сожалению, все, что я сумел сделать, – это дать ей денег, письмо к моему бывшему антрепренеру и отправить в Калугу. Сопровождать Софью Николаевну я не мог... Не мог.

– Я понимаю, Володя, понимаю! – торопливо вставила Анна, слыша в голосе Черменского не прошедшее раскаяние. – Вы были тогда еще связаны своим словом...

– Да. И Мартемьянов к тому же мог что-то заподозрить. Он ведь, кстати, так и не поверил в то, что Софья Николаевна утопилась, хотя мы с Северьяном сделали все, чтобы его убедить. И продолжал ее искать. Так же, как и я.

– И не нашли.

– Неисповедимы пути актерские... – усмехнулся Владимир. – Театр из Калуги уехал, Софья Николаевна кинулась его искать, ездила по городам... А я искал ее. Не нашел, отчаялся и, набравшись наглости, явился в Москву, к вам. Надеюсь, что вы меня вспомните, хотя обстоятельства, при которых мы познакомились...

– О да... – Анна даже вздрогнула. – До сих пор не могу спокойно вспоминать об этом. Я приезжаю в Грешневку – а дом пылает, Сергея нет, двое мужиков держат Катю и рассказывают мне, что Соня утопилась, а Катя спалила дом вместе с братом! К счастью, там были вы... и хоть как-то сумели мне все объяснить. Как же я могла не вспомнить нашего знакомства? Хотя, конечно, и была изрядно удивлена, когда вы прямо с порога попросили Сониной руки.

– Я боялся, что вы без этого и говорить со мной не станете. Мне ведь был нужен адрес Софьи Николаевны, я думал, что она пишет к вам...

– И не ошиблись! Но скажите, скажите – почему вы сразу же, немедленно не поехали туда, к ней, в Ярославль?! Ведь все могло бы быть по-другому!

– Анна Николаевна, – вздохнув, ответил Владимир. – Я был готов выехать в тот же день, но случайно встретил на вокзале человека из имения отца. И узнал, что батюшка скончался. Что я мог поделаться? Мне пришлось срочно ехать в имение наводить хоть какой-то порядок! Ведь других наследников нет...

– Но отчего же вы не писали к ней?! За полтора месяца – ни одного письма!

– Анна Николаевна, ну чем еще я могу вам поклясться? – устало спросил Владимир. – Разве что спасением души, которым нисколько не дорожу. Я писал к Софье Николаевне каждую неделю, и даже, кажется, чаще, послал пять или шесть писем... И еще имел нахальство ожидать на них ответов... которых так и не было.

– Но она получила лишь одно письмо! То, которое вы написали здесь, в моем доме, и я сама отправила его! Более не было ничего, и она, рассказывая мне об этом, чуть не плакала!

– Не знаю, Анна Николаевна. Ничего не понимаю, – медленно произнес Владимир. – Когда я приехал в Ярославль, Софьи Николаевны там уже не нашел. Не было и театра, труппа отправилась на гастроли. Случайно осталась некая актриса, моя знакомая, она жила в одном доме с вашей сестрой и все мне рассказала... Про ее дебют в роли Офелии, про бешеный успех, про сказочные рецензии в газетах... И... про Мартемьянова. Про то, как он увез ее.

– Стало быть, вы знали об этом? – изумленно спросила Анна. – Отчего же не сказали мне?

– Знал... – Черменский снова невесело улыбнулся. – Но, как дурак, надеялся, что сведения эти ложны. Маша Мерцалова, та актриса, могла что-то перепутать, не так понять, просто позавидовать... Я не в силах был в это поверить, Анна Николаевна! Если бы хоть кто другой, не Мартемьянов... Я ведь догадываюсь, какие предложения делались Софье Николаевне после такого успеха на сцене! Но Мартемьянов... Она же кинулась в реку, лишь бы не ехать с ним! Что же произошло, как она могла согласиться на это?

– Володя, бог свидетель, я знаю не больше вашего...

– Я был уверен, что они уехали в Москву! Сразу же помчался сюда, полетел к вам – и выясняется, что вы также ничего не знаете! И за всю весну – ни одного письма! Ни мне, ни даже вам!

– Володя, но он мог увезти ее силой, – осторожно проговорила Анна. – Вы же сами мне рассказывали, что этот человек не останавливается ни перед чем. Он мог просто поймать ее и...

– И перевезти контрабандой через границу, – с иронической усмешкой продолжил Черменский. – Прямо как в авантюрном романе. Боюсь, что такой кунштюк даже Мартемьянову не под силу.

Анна растерянно молчала, не зная, что возразить. Лампа, поморгав, погасла, в комнате стало темно, и Анна поднялась, чтобы зажечь свечи. Когда она вернулась к креслам, Владимир встал.

– Что ж, не буду более злоупотреблять вашим временем, Анна Николаевна. Скоро утро... вы устали. Честь имею.

– Володя, – мягко сказала Анна, становясь напротив и беря Черменского за обе руки. – Я хорошо понимаю ваше состояние. Но, поверьте, я хорошо знаю людей... и особенно Соню. Она... она не такая, как я.

– Анна Николаевна, мое уважение к вам...

– Оставьте, Владимир Дмитрич, этот светский тон! Он неуместен! – неожиданно повысила голос Анна, и Черменский растерянно умолк на полуслове. – Я прекрасно знаю цену себе! Да, я вынуждена была вести такую жизнь! Смерть родителей, нищета, сестры-девочки, опекун-мерзавец, Петька... тоже мерзавец... Но это все слова! А на деле – вот я, Анна Грешнева, бывшая содержанка, камелия, которую ни в одной приличной гостиной не принимают! Я ни о чем не жалею, я делала лишь то, что могла, и, наверное, ничего другого не оставалось... Даже отравиться в свое время не решилась, хотя хотелось безмерно... Но кто бы тогда о сестрах подумал?.. Однако, уверяю вас, не такова Соня. Ей впрямь лучше в реку головой, чем... И это не поза, не героизм – характер. И потому я прошу вас – не судите мою сестру и не делайте поспешных

выводов. Если это возможно – подождите. Если нет – я вам не судья. Вы молоды, богаты, у вас еще все впереди: и счастье, и любовь.

– Сколько вам лет, Анна Николаевна? – вдруг спросил Черменский.

– Двадцать три... Вы удивлены? Да, я моложе вас.

– Признаться, удивлен. Я был уверен, что... Впрочем, дамам такие вещи не говорят.

– Володя, какая я дама? – отмахнулась Анна с невольной улыбкой. И тут же вновь стала серьезной. – Итак, ваше решение?

– Оно принято давно. Я уезжаю в Раздольное. И продолжу ждать вестей от Софьи Николаевны... или от вас. Обещайте, что, какими бы эти вести ни были, вы тут же сообщите их мне.

– Разумеется. – Анна протянула Черменскому руку. Он слегка сжал холодные пальцы молодой женщины, поднес их к губам, коротко поклонился и вышел.

Пройдя через сени на черную половину дома, Владимир остановился перед дверью в кухню, из-под которой выбивалась полоска света. Стукнув в нее, он негромко свистнул и позвал:

– Северьян!

Тишина.

– Северьян!

Снова тишина, на этот раз перемежаемая сопением.

– Северьян!!! Леший с тобой тогда, оставайся, а я уйду!

– Да Владимир... черт... Дмитрич!!! – Северьян, встрепанный, лохматый, в распоясанных штанах, вырос на пороге кухни. Это был рослый и стройный

парень, ровесник Черменского, с широким разворотом сильных плеч, иссиня-черной копной жестких курчавых волос и раскосыми глазами на скуластой смуглой физиономии. – Вот ну хоть бы минутку обождали, ей-богу!

– Минутку обожду, – усмехнулся в темноте Черменский. – Передай Фекле, что только ради нее, в благодарность за сегодняшние пироги. Живо!

Северьян исчез. Владимир вышел из дома в сырую темноту двора, разбавляемую только жидким светом из окна кухни, поежился, достал папиросы. Невольно вспомнил, невесело усмехнувшись, одну душную летнюю ночь пять лет назад, Раздольное, Янину... Молодая полячка была женой отца, а ему, Владимиру, естественно, приходилась мачехой, они тогда еще много смеялись над этим. Целое лето он лазил в окно ее спальни, ошалев от первой в своей жизни любви; целое лето ломал голову, что с ними станет, если о запретной связи узнает отец, требовал от Янины обещаний в вечной страсти, совершенно потеряв голову, уговаривал красавицу уехать с ним на Кавказ... Она только смеялась и откровенно признавалась, что, столько лет прожив в нищете родительского дома в Вильно, ни за какие коврижки не согласится бежать к диким горцам от богатого супруга. Неизвестно, чем бы закончилась эта горячая любовь, если бы в одну из ночей Владимир не забрался в окно Янины в неурочное время и не застал у нее... Северьяна. Пока оба стояли друг против друга с одинаковым выражением изумления на лицах, за дверью послышались тяжелые шаги генерала Черменского – третьего и самого законного претендента на любовь красавицы полячки. Северьян опомнился первым, дернул Владимира за рукав – и они стремительно смылись через открытое окно. И в ту же ночь покинули Раздольное.

Владимир не мог знать, что через несколько лет Янина все-таки уйдет от отца, сбежит, оставив лишь коротенькую записку, с соседом-помещиком, что генерала Черменского из-за случившегося хватит удар... Все это выяснилось лишь нынешней весной, когда Владимир неожиданно встретил на вокзале Фролыча, старого управляющего Раздольным. Но разве мог Черменский рассказать о таком старшей сестре своей возлюбленной?.. Пусть уж Анна сама придумает какую-нибудь романтическую причину его ухода из отчего дома, женщинам это удается хорошо...

Черменский уже докуривал вторую папиросу, когда из дома выскочил Северьян, – одетый, довольный и на ходу жующий пирог. В тот же миг в кухне погасло окно, стало совсем темно.

– Фу-у, хоть в рай не просись! Спасибо, Владимир Дмитрич!

– Ты бы Феклу в покое оставил, – без особой надежды попросил Черменский. – Она на тебя графине жалуется.

– Это еще почему?! – поразился Северьян. – Вот зараза! На что же тут жаловаться-то?! Вот и поди ты с этим бабьем...

– Стало быть, есть на что. Да запахни грудь, застудишься на радостях... Идем, дон Гуан, утро скоро.

Они молча шли через пустынную Неглинку. Вернее, молчал Черменский, а Северьян, пряча под мышками озябшие ладони, допытывался:

– Ну, так что там с невестой вашей, Владимир Дмитрич? Нашлись аль нет Софья Николавна-то? Написали? Сами объявились?

– Слушай, сделай милость, отвяжись.

– Стало быть, не объявились, – вздохнул Северьян. – А чего ж мы с вами всю весну тут просидели? Или в Раздольном делов мало? Посевная идет, Фролыч старый совсем стал, за всем доглядеть не может, управляющие ваши – воры хужей меня, мужики ленятся... Владимир Дмитрич, я кого пытаю?! Что за новости-то были?!

Владимир понял, что отвязаться от Северьяна не удастся, и отрывисто сказал:

– Пришло письмо. Из Вены. Софья уехала с Мартемьяновым.

– В Вену?! Это где ж, у австрияков?! – поразился Северьян. И замолчал надолго. Только когда уже поворачивали на Трубную, длинно сплюнул на тротуар и задумчиво произнес:

– Стало быть, доброй волей поехала... Да вы бросьте переживать-то, Владимир Дмитрич... Сколь разов я вам говорил, что все до единой они такие. Я-то знаю, у меня поболее вашего этого добра имелось... Никакой радости, окромя гадости,

вот прямо слово чести вам даю! Что кухарка, что графиня – одна храпесидия...

– Замолчи, – коротко перебил его Владимир, и Северьян, осекшись на полуслове, счел за нужное послушаться.

...Анна, оставшись одна, какое-то время сидела не двигаясь, глядя на бьющийся от сквозняка огонек свечи. Затем, нахмурившись, прислушалась к легкому шороху, донесшемуся из-за портьеры. Потом повернулась. Встала из кресла во весь рост, взяла тяжелый канделябр и негромко, гневно спросила:

– Кто здесь? Выходите немедленно!

– Восхищен вашей доблестью, Анна Николаевна, – ответил из-за портьеры низкий насмешливый голос, в полосу света вышел собственной персоной Максим Модестович Анциферов, действительный статский советник министерства юстиции. – Любая женщина на вашем месте подняла бы дикий визг, а вы еще намереваетесь убить меня канделябром!

– Взывать к вашей совести, я полагаю, бессмысленно? – ледяным голосом спросила Анна, ставя на место подсвечник и возвращаясь в кресло. – Но извольте хотя бы объяснить, зачем вам это понадобилось! Разговор, который здесь велся, не мог быть вам интересен ни с одной стороны.

– Напротив, весьма увлекателен со всех сторон! – заверил Максим Модестович, опускаясь в кресло напротив Анны. – Во-первых, я счастлив был узнать, что Софья Николаевна жива и в добром здравии. Ходили ужасные слухи об ее утоплении. А вы их не опровергали.

– Да, потому что меня никто об этом не спрашивал! – отрезала Анна. – Не могла же я, согласитесь, бегать по Москве и кричать о том, что сестра жива? Наша семья уже давным-давно не интересуется светское общество...

– Во-вторых, меня беспокоил этот молодой человек, – деловито продолжал Анциферов. – Я, признаться, подозревал, что он ваш любовник.

– Откуда такие домыслы? – холодно спросила Анна.

– Ну, как же, помилуйте... Регулярно, на протяжении всей весны бывает у вас на вторниках, вашими «кузинами» не интересуется, тратит целый вечер на то, чтобы рассуждать со старым пнем вроде меня о необходимости армейских реформ... и остается, когда прочих гостей вы уже спровадили благополучно. О чем же еще сии факты могут говорить?

– Не вижу, как это касается вас, – пожала плечами Анна.

– Это касается ВАС, – ничуть не смутившись, заявил Анциферов. – А стало быть, и меня.

– Я вас не понимаю, Максим Модестович, – глядя в сторону, сказала Анна. – Вы всегда давали понять мне, что отношения между нами – исключительно деловые. Да, я была крайне удивлена, когда в марте вы нанесли мне визит, представившись другом моего покойного опекуна, и предложили помощь.

– Кстати, совершенно бескорыстно... – вставил Анциферов, хотя в его темных глазах билась усмешка. Анна заметила ее и тоже усмехнулась.

– Не нам с вами, Максим Модестович, говорить о бескорыстии... Но вы пришли ко мне, выбрав очень удобный момент: я только что осталась без Петьки и была несколько растеряна... Деньги у меня, конечно, имелись, но я боялась, что не смогу правильно распорядиться ими и... кончу через несколько лет в борделе. Чем же вы смущены? Я неверно подбираю слова?!

– Более чем верно. – Анциферов, похоже, действительно был смущен. Поднявшись, он налил себе вина (Анна жестом отказалась) и далее сидел молча, изредка отпивая из бокала бордо, пока молодая женщина говорила:

– Ведь именно вы подкинули мне мысль об этих... «вторниках графини Грешневой». И вы рекомендуете мне девушек... ведь не самой же мне бегать по публичным домам, выискивая подходящих?.. И всякий раз ваш выбор оказывается великолепным, мне остается лишь довести до блеска и выставлять в гостиной. Поверьте, я искренне вам благодарна. И ваши проценты, о которых мы сразу же условились, вы получаете каждый месяц. Все точно, как в немецкой аптеке. Но я до сих пор не понимаю, зачем вы возитесь со мной. Не ради же этих процентов? В самом начале нашего знакомства я наивно предположила, что вас интересует собственно моя персона... но вы были очень любезны и разубедили

меня. – Произнося последние слова, Анна почувствовала, что к ее скулам приливает кровь. Но в предутренней полумгле гостиной это нельзя было заметить.

– Так отчего же вы беспокоитесь? – почти мягко спросил Анциферов.

– Оттого, Максим Модестович, что имею представление о том, где лежит бесплатный сыр. Если б я точно знала, какую цену и когда должна буду заплатить за ваше покровительство... уверяю, никакого беспокойства бы не возникло.

– Никакой цены не будет, Аннет.

– Тогда, Максим Модестович, я просто в панике, – со вздохом сказала Анна.

– Вы мне совсем не доверяете?

– Господь с вами... Разве можно вам доверять?

Анциферов тихо рассмеялся, поставил бокал на стол и подошел к креслу, в котором сидела Анна. Она тревожно, снизу вверх посмотрела на него. Но Максим Модестович лишь поцеловал ей руку и наклонил голову.

– Что ж... пора и честь знать, скоро рассветет. Для меня, Анна Николаевна, это был очень удачный вечер. Я не только прекрасно провел время, но и убедился в важной для меня вещи.

– В том, что у меня нет любовника? – насмешливо поинтересовалась Анна. – Но, кажется, когда мы с вами говорили о делах, вы мне не ставили такого условия.

– Разумеется, нет.

– Стало быть, я могу?..

– Вы вольны распоряжаться собой по собственному разумению.

– Но к чему же тогда эти бдения за моей портьерой? Я решительно ничего не понимаю!

– Ах, Аннет, оставьте старику его причуды... – снова улыбнулся Анциферов. – Считайте, что это разжижение мозгов от древности.

– Не кокетничайте. Вам до древности еще очень долго.

– Вы меня успокоили. Прощайте, Анна Николаевна. Желаю доброй ночи... Вернее, утра.

Максим Модестович ушел. Анна осталась в кресле, обхватив руками колени, и до самого рассвета сидела неподвижно, молча, глядя на то, как плачет прозрачным воском тающая свеча в канделябре.

В Вене Федор Мартемьянов и его спутница очутились в конце апреля. У Софьи, за всю свою жизнь не бывавшей дальше уездного городка Юхнова, вскоре не осталось сил, чтобы удивляться и восхищаться. С широко открытыми глазами она бродила по узким, мощенным брусчаткой улочкам, замирала от восторга перед Венским оперным театром, похожим на причудливо украшенный торт в завитушках и виньетках, всплескивала ладонями перед старинными дворцами, замедляла шаги возле зеркальных витрин магазинов, любовалась непривычными пейзажами, пыталась разговаривать на европейских языках, которые учила давным-давно, в детстве, и которые, казалось, напрочь забыла. Но французские и немецкие слова неожиданно всплывали в памяти одно за другим, и Софья, к своему крайнему изумлению, обнаружила, что довольно сносно понимает речь окружающих. Но более всего девушку радовало то, что эти люди вокруг нее – совершенно чужие, ничего о ней не знающие и не интересующиеся, почему и в чьем обществе она находится здесь. На подобные вопросы Софья до сих пор не смогла бы ответить ничего вразумительного даже самой себе.

Уже через два дня после отъезда из Ярославля в виленской гостинице она осознала, что, уехав с Мартемьяновым, сделала величайшую глупость. Сообразив, что, поддавшись отчаянию, связала жизнь с чужим, страшным человеком, о котором ей ничего не известно, Софья схватилась за голову и заколотила в стену номера, призывая Федора. Тот пришел сразу же – спокойный и невозмутимый. Не моргнув глазом выслушал растерянную и испуганную Софьюину речь о том, что она поторопилась с решением... была слишком

взволнованна... но надеется, что господин Мартемьянов порядочный человек... если возможно, ей хотелось бы вернуться... разумеется, все расходы она готова возместить... При этих ее словах Федор заинтересовался:

– А вы о каких расходах, Софья Николаевна?

– Ну, как же... – чуть не плача, начала она. – Паспорт... Билет... Гостиница...

– Матушка моя, да нешто же это расходы? – искренне расхохотался Мартемьянов. Но, увидев стоящие в Софьиных глазах слезы, сразу посерьезнел. Встав, сделал было шаг к ней, но девушка отпрянула, и он поспешно вернулся на место. Помолчав, без капли обиды спросил: – Софья Николаевна, тебе годков-то сколько?

– Восемнадцать... исполнится летом...

– А я тридцать третий меняю. И кой-что в этой жизни нашей понимаю. Так что послушай меня в спокойствии и не полошись раньше срока. Ежели тебя совсем от меня воротит – так, что в одной гостинице со мной находиться не могёшь, – тогда, разумеется, езжай, и никаких разговоров о расходах я не приму. Так это? Говори, не обижусь – не девка красная, небось.

Софья молчала. Потому что подтвердить сказанное Мартемьяновым не могла. Да, он по-прежнему пугал ее – хотя за два дня пути Софья успела немного привыкнуть к этой неподвижной, словно вырезанной из соснового полена физиономии и черным, упорным глазам под густыми, сросшимися бровями. Но при одной мысли о том, что Мартемьянов обнимет ее или начнет целовать, от ужаса останавливалось сердце. При этом он почему-то не был отвратителен ей. Софья признавалась самой себе: даже в тот страшный вечер, в Ярославле, в гостинице «Эдельвейс», когда Федор приблизился вплотную и взял ее за плечи, Софью не стошнило и не возникло никакого омерзения – просто смертельный испуг и разочарование, ведь ждала она тогда не его...

– Вот ведь воспитание господское... – со вздохом произнес Мартемьянов на четвертой минуте Софьиного молчания. – Нешто не можешь в глаза сказать: выворачивает меня от тебя, Федор Пантелеевич, поди-ка ты прочь, свинячье рыло. А?! Ну, матушка моя! Хамом-то называла меня? И мужиком? Тогда, в кабаке вашем грешневском...

– Называла, когда нужда в том была! – вскипела Софья. – И если вы полагаете...

– Отлично даже полагаю! – усмехнулся он, но черные глаза его не смеялись. – И права ты, Софья Николаевна, была. Напился я тогда по-свински, да и от тебя ошалел изрядно. Ну что? Кто старое помянет, тому глаз вон? Можешь меня около себя наблюдать?

– Могу, – с сожалением проговорила Софья. – Но...

Мартемьянов снова встал. Софья поднялась тоже, и он взял ее за обе руки. Она отстранилась – Федор тут же разжал пальцы.

– Вот что, Софья Николаевна. Последнее мое слово тебе скажу. У меня такой, как ты, сроду не было и вперед уж не будет. И я за просто так от тебя не откажусь. Коли ты мне в первый раз не поверила, то я вдругорядь слово даю – а мое слово купеческое, его вся Волга, от Каспия до Ярославля, знает! Не дотронусь, пока сама не пожелаешь! Подожди месяц, до лета всего подожди! Ежели к июню совсем замучаешься – отпущу. И ни копейки не взыщу, лети на все четыре стороны, пташка божья. Но уж до лета потерпи. Я тоже знать должен, что не просто так счастье свое из рук выпустил.

– Как угодно, – сказала Софья устало.

Спорить с ним далее она просто не могла. Мартемьянов коротко взглянул на нее из-под мохнатых бровей и молча вышел.

Несмотря на его обещание, в первые дни пребывания в самой известной венской гостинице «Франц-Иосиф II» Софья находилась в постоянном напряжении и ни одной ночи не спала спокойно, каждый миг ожидая, что вот-вот откроется дверь номера и Федор войдет, как хозяин, спокойно и властно, и сделает с ней все, что захочет, а она... А она должна это стерпеть, и по возможности, без явной неприязни. Но как, Софья не очень-то представляла, боялась, злилась на себя, нервничала, плакала, однако... дни бежали, а ничего не происходило. Мартемьянов ни разу не вошел к ней.

В один из вечеров, вернувшись усталой и полной впечатлений из картинной галереи, Софья с изумлением увидела на столе в номере какие-то сафьяновые

футляры.

– Марфа, что это?

– Федор Пантелеич в ваше отсутствие заходили, – ответствовала Марфа, сидящая в кресле возле окна с непроницаемым лицом. Софья подозрительно посмотрела на нее, но та упрямо любовалась в окно залитой закатным светом площадью. Софье оставалось только подойти к столу и один за другим открыть футляры. Через минуту она упала в другое кресло и простонала:

– Ма-а-арфа... Неужели это все настоящее?

– Да уж не будут они из самоварного-то золота дарить, не таковские, – сумрачно заметила Марфа.

Встав, она тоже подошла к столу, по которому были разбросаны длинные серьги с изумрудами, кольцо с голубым, загадочно мерцающим бриллиантом-капелькой, золотой браслет, густо усеянный искрами изумрудов и алмазной пылью, и несколько колец.

– Господи... Да что же мне с этим делать?!

– Там, в углу, еще и платья лежат, – ехидно заявила Марфа. – Говорила я вам – тратьте сами! А то этот ваш атаман ватажный невесть что накупит... Посмотрите, Софья Николавна, я без вас не стала лазить.

В углу номера, на диване, действительно стояли три круглые коробки. Распотрошив их, Софья и Марфа разложили на кровати изумрудно-зеленое муаровое платье, бледно-фиолетовое из тонкого шелка и роскошное, вечернее, из гладкого черного атласа, с таким декольте, какого Софья никогда в жизни не решилась бы надеть даже на сцену.

– А что, бонтонно... – ворчливо одобрила Марфа, разглаживая атлас и любясь на игру закатного луча на черной переливчатой ткани. – Ты смотри, понимает что-то, медведь костромской!

Софья была полностью уверена, что наряды Мартемьянов выбирал не сам, а с помощью модисток, но положение от этого легче не становилось.

- Марфа, да что же мне теперь делать?!

- Как что? Пойти поблагодарить да с божьей помощью завертываться! В театр ведь вечером собирались! Когда у вас этикие туалеты были? Анна Николаевна и то такого сроду не нашивали!

Это было правдой. Софья никогда в жизни не имела не только таких великолепных платьев, но даже просто новых: до семнадцати лет она донашивала одежду Анны, еще и стараясь не слишком трепать, чтобы потом оставить Катерине. Первые собственные платья появились у Софьи только в нынешнем году, после успеха на сцене, когда у них с Марфой завелись какие-то деньги. Но и эти наряды, еще недавно казавшиеся девушке роскошными, взятые с собой в вояж и нынче аккуратно развешанные в гардеробе, выглядели обносками по сравнению с теми, что лежали сейчас на кровати. Про украшения и речи не было: таких драгоценностей Софья не видела даже у сестры.

- Марфа, ради бога, ну чего же ему надобно?! Я не понимаю, право, не понимаю...

- Вас ему надобно, чего ж еще... - последовала мрачная отповедь. - Хи-и-итрый, дух нечистый... Рано иль поздно своего дождется. Я его наскрозь вижу!

- Но отчего же он тогда не... не настаивает... Марфа! Ведь мужчины так себя, кажется, не ведут...

- Много вы, барышня, знаете, как мушшины себя ведут! Сколько каждому господь ума отсыпал - так и ведут! Этот - так очень даже правильно все делает...

- Но мне-то, господи, как же быть?! Я и так себя ужасно чувствую... Ты же видишь, каких денег все стоит?! Этот вояж, гостиница, рестораны, теперь еще и туалеты... Почему он ничего не требует взамен? Не просто так же он все это делает?!

– Такие просто так и в поле облегчиться не присядут... – «успокоила» Марфа. – Обождите, Софья Николавна, он своего добьется. Да и вы попусту в ипохондрию не влазьте... Чему быть – того не миновать, не этот – так другой, разницы никакой не имеется, а значит, и мучиться незачем. Надевайте лучше платье новое да бежите в свой тياتр.

– Я сначала пойду к нему, – твердо объявила Софья, вставая.

– Это зачем? – подозрительно осведомилась Марфа. – Назад все возвертать очень даже глупо будет. Стоило нам с вами тогда с насиженного места в Ярославле срываться, саржу да сукно мы и там нашивали! А раз уж вы этому ироду таку милость господню оказали, так уж пользуйтесь как есть! В своем праве, небось!

– В каком праве, Марфа, о чем ты?! Он меня пальцем не тронул!

– Так это уж не за горами... – Марфа вдруг подошла и обняла Софью за плечи своей могучей рукой. – Вы не надеетесь, Софья Николавна, вас оно не минет. Не мытьем, так катаньем своего добьется... а вы не мучайтесь! Доля наша бабская такая! Вот ежели б он вас тогда, в Грешневке, не за деньги покупал, а честь по чести замуж позвал бы – ведь пошли бы? Поплакали да пошли б?

– Да... – медленно сказала Софья. – Ты права. Пошла бы... Может быть, тогда удалось бы Грешневку спасти. И... Катю...

– Вот ви-идите! А какая разница, что по закону, что по греху? Все едино большого удовольствия не приобретете, это уж я вам как знающая говорю. Так что давайте обряжаться, скоро уж ехать вам.

Софья понимала, что Марфа права. Но и нарядиться сейчас в атласное платье и как ни в чем не бывало спуститься в ресторан она тоже не могла и, поразмыслив, решила все же к Мартемьянову зайти. Хотя бы поблагодарить – несмотря на то, что Софья предпочла бы, чтобы этих вещей в ее комнате не появлялось.

Мартемьянов находился у себя, и еще из коридора было слышно, как он ругается с коридорным:

– Да что ж ты, немчура, человеческого языка не понимаешь?! В тридцатый раз тебе, белоглазый, говорю: не надобно мне пива! От него в утробе бульканье одно! Да еще лохань такую приволок, хоть крестись в ней! Ты думаешь, я с этим полутораведом в пузе три часа в киятре высижу без последствий?! Водки, сказано тебе, принеси! Ну, что ты хлопаешь лупками-то своими?! Тьфу, нехристь, что в лоб, что по лбу... Софья Николаевна?..

– Добрый вечер, Федор Пантелеевич, – сдержанно сказала Софья, проходя в номер мимо угодливо поклонившегося ей светловолосого парня в униформе гостиницы. – Что же вы на него кричите, если он не понимает по-русски?!

– А я по-ихнему не понимаю! – остывая, буркнул Мартемьянов. – Матушка, может, хоть ты ему растолкуешь, чтобы пива мне не носил? Нутро у меня этой ихней браги перекисшей не принимает! А он, болван, таскает и таскает, как нанялся, и ничего другого не приносит! Хоть бы уж корюшкой соленой али раками разжился, так и того нет!

– Чего же вы хотите? Водки? Или раков? – уточнила Софья, одновременно соображая, как по-немецки назвать корюшку и подают ли в Вене к пиву вареных раков.

– Да теперь уж ничего, – к ее облегчению, проворчал Мартемьянов. – Пошел вон, бестолочь, и чтоб не видал я тебя боле...

Последнее указание парень понял великолепно и тут же исчез. Глядя на сердитую и слегка смущенную физиономию Мартемьянова, разглядывающего действительно огромную глиняную кружку с пивом, оставленную на столе, Софья едва удерживалась от того, чтобы не улыбнуться. Но тут она вспомнила, зачем сюда явилась, и смеяться сразу расхотелось.

– Я, собственно, пришла вас благодарить... – неуверенно начала она. – Право, ни к чему было совершать такие траты, у меня и собственный гардероб вполне пристойный.

– Не понравилось? – огорчился Мартемьянов. – Ну-у, вот так и знал! Говорил-говорил этой дурище в кружевах в ихнем магазине, что, мол, барышня такого нипочем не наденет, воспитание не то, – куда там! Лопочет и лопочет, тащит и тащит шмотья-то, кидает и кидает передо мной... У меня аж в глазах мельканье

сделалось, насилу ноги унес!

- О нет, платья прекрасные! - поспешно произнесла Софья. - Право, у вас замечательный вкус, но...

- Да говорю ж, что не я, а модистка выбирала, - с досадой повторил Мартемьянов. - Коли б я, так, верно, еще хуже было бы. Ну, а камешки-то? Не по виду, а по цене брал, уж точно не песочек волжский...

- Камни очень красивые, - со вздохом признала Софья. - Но, Федор Пантелеевич... К чему? Я ведь, кажется, не голой хожу.

- Думал - обрадуешься, - пожал широкими плечами Мартемьянов. - Сама ведь ты, матушка, ничего себе купить не желаешь. Я у твоей Марфы кажин день спрашиваю - нет, говорит, барышня денег не трогает, вся пачка в целости лежит...

- Потому что мне ничего не нужно. - Софья помолчала, глядя через плечо Мартемьянова в окно, на залитые золотисто-алым светом шпили собора Святого Стефана. - Вы поймите, Федор Пантелеевич, что я всю жизнь нищей прожила... и привыкла малым обходиться. За гостиницу платите вы, за стол тоже, платья у меня есть... А без бриллиантов, право, обойдусь.

- Но... что же, матушка, тогда тебе еще-то дарить? - растерянно спросил Мартемьянов, подходя вплотную к Софье и глядя ей прямо в лицо черными, упорными глазами. - Ты уж научи меня, потому как не разумею... Для вашей сестры набор известный - шмотья да брульянты... А чего ж другого надобно?

Глядя в его темное, нахмуренное, искренне озадаченное лицо, Софье хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Более глупого положения она и представить себе не могла. Она глубоко вздохнула и сказала то, что думала:

- Федор Пантелеевич, не дарите ничего. Я не хочу вас обидеть, но... если бы мне нужны были платья или украшения, я могла бы их иметь и в Ярославле.

- Да откуда?! - взвился Мартемьянов. - Знаю я, мать моя, кто к тебе в Ярославле езживал! У того графа Игорьева и половины моего дохода нет, то похвальба

одна была, да он...

– Федор Пантелеевич, – холодно прервала его Софья. – Если вы помните, единственной моей просьбой к вам было – увезти меня как можно скорее из города. Вы и увезли... гораздо дальше, чем я рассчитывала. – В голосе Софьи прозвучала ирония, и Мартемьянов, почувствовав это, нахмурился, но промолчал. – Более мне ничего от вас не надобно. А впрочем, поступайте как знаете, я полностью в вашей воле. Если вам угодно выбрасывать деньги на ветер – это ваше право.

Мартемьянов молчал так долго, что Софья всерьез испугалась, что он обиделся. Ей этого вовсе не хотелось, и она скрыла облегченный вздох, когда Федор повернулся к ней и своим обычным спокойным, чуть насмешливым голосом спросил:

– Ну, а в театр-то твой едем, Софья Николавна? Али тоже побрезгуешь?

Он знал, что говорил: отказаться от первого похода в Венскую оперу было выше Софьиных сил, и даже общество Мартемьянова не могло испортить ей этого удовольствия.

Нынешним вечером в Венской опере давали «Севильского цирюльника» Россини. Совершенно случайно Софья попала на бенефис гениальной Паолины Лукка, лучшей сопрано Европы. Розину пела бенефициантка, графа Альмавиву – молодой Баттистини, Фигаро – Мазини. Сверкающий, как алмазное украшение, театр был полон, мелькали роскошные вечерние туалеты дам, фраки мужчин, лорнетты, бриллианты, веера... Отовсюду слышались воодушевленные разговоры. Поклонники, не смущаясь, напевали отрывки арий, предвкушали, как божественна будет Лукка, как неподражаем Баттистини, как непредсказуем в своих мелизмах Мазини, как великолепно возьмет певица верхнюю ля-бемоль... Ничего подобного в ярославском театре, среди зевающих купцов и взбалмошных, влюбленных в «душку-трагика» гимназисток, Софья не видела и ожидала начала представления с невольным трепетом, как в церкви – выноса причастия. Но то, что случилось потом, когда, шурша, взвился вверх тяжелый бархат занавеса, превзошло все ее ожидания.

Сестры Грешневы обладали прекрасными голосами. Анна обожала оперу и, приезжая в Грешневку, садилась за расстроенное фортепьяно и пела все, что ей

удалось услышать в Императорском театре в этом сезоне. Голос сестры Софье нравился. Она знала все оперные партии и без труда могла воспроизвести их с напева Анны. Софья сама имела оглушительный успех в Ярославле, когда, играя Офелию, исполнила любимый романс сестры «Под вечер, осенью ненастной». Но каким мелким, смешным, ничтожным показалось ей собственное лицедейство на ярославских подмостках, когда на сцену вышла Паолина Лукка – великая Лукка! – и, прекратив мягким и величественным жестом шквал аплодисментов, от которых, чудилось, вот-вот рухнут в партер сияющие свечами люстры, начала арию Розины. Великолепное сопрано с прозрачными *pianissimo* заставило замереть огромный зал. Нежные, как весенние облака, звуки поплыли к покрытому позолотой и росписью знаменитому потолку Венской оперы, голос певицы набрал силу, заискрился, без малейшего усилия поднялся еще выше, в заоблачную даль, – и Софья почувствовала, что у нее сжимает горло.

– Софья Николаевна?.. – встревоженно (и на весь бельэтаж!) спросил Мартемьянов. – Что с тобой, матушка? Может, выйдешь воздухи примешь?

– Ох, молчите ради бога... – едва сумела прошептать она. Мартемьянов послушно умолк, но до конца спектакля смотрел не на сцену, а на Софью. Она, впрочем, не замечала этого – как и того, что мысленно повторяет вслед за Лукка арию за арией, а по щекам у нее бегут слезы.

«Никогда мне так не спеть! – восхищенно думала Софья, вместе со всеми в конце спектакля стоя и отбивая ладони в аплодисментах. – Она – не человек, ангел... Гений... Откуда берется такое? Слышать, видеть ее – счастье...»

– Господи всемилостивый, ну и мучение! – шумно вздохнув, пожаловался Мартемьянов, едва оказавшись на улице, темной и пахнувшей цветущими каштанами. Спектакль только что кончился, от ярко освещенного театра отъезжали экипажи со смеющимися и громко разговаривающими зрителями, целая толпа еще стояла у дверей, ожидая выхода «божественной Паолины», и Софья тоже хотела дождаться ее. На сентенцию Мартемьянова она обернулась и с изумлением взглянула в лицо своего кавалера.

– Сушая, говорю, каторга! – недовольно косясь на освещенный театральный подъезд, повторил он. – Вот ей-богу, по мне, так ты, матушка, в Ярославле во сто раз лучше пела!

Софья только рассмеялась:

– Господь с вами, Федор Пантелеевич... Это же великая Лукка! Ее знает вся Европа, она с семи лет поет в опере, вместе с ней сам...

– И что с того, что великая? Мне – не по нраву! – уперся Мартемьянов. – У нас в Костроме Аграфена Репкина, дочь попа соборного, в церкви еще лучше пела! Да эти ведь еще не на человеческом языке поют, руками чего-то машут, бегают... В нашем театре сидишь – так хоть понимаешь, о чем речь, хоть и тоже потешно бывает. Я из-за тебя в Ярославле месяц из ложи не вылезал, ходил смотреть, так почти все понимал! А здесь...

Глядя на сердитую физиономию Мартемьянова, Софья едва сдерживала смех – и при этом ей неожиданно стало жаль его. Впервые она подумала о том, что ее покровитель почти неграмотен, вряд ли читал в жизни что-то кроме псалтыри и слушал музыку помимо церковной и кабацкой. Видимо, четыре часа оперы были для него и впрямь нешуточным испытанием.

– Вы со мной, Федор Пантелеич, не ходите больше, – серьезно и участливо сказала она, сама не замечая, что кладет ладонь на рукав Мартемьянова. – Зачем же такие страдания? Я Марфу буду брать, она прямо на первых тактах засыпает. Главное – разбудить в конце, а то уж в Ярославле конфузы случались...

– Да нет уж, матушка, – так же серьезно ответил Мартемьянов, не сводя глаз с тонкой руки Софьи, лежащей на его рукаве. – Я с тобой куда угодно пойду, хоть в оперу, хоть к чертям на вилы. И не такое терпеть приходилось – ничего, сдюжили... Хоть бы вот только понимать, о чем таком они воют...

Она расхохоталась и начала пересказывать Мартемьянову содержание «Севильского цирюльника». В театре давно погасли огни, уехала в карете окруженная толпой поклонников Лукка, разошлись последние гуляки, над Веной всплыла желтая луна, пятнами заиграв на лепнине театрального фасада и брусчатой мостовой, а Софья, воодушевленная вниманием Мартемьянова, говорила и говорила.

– Стало быть, граф – за девочкой волочится, а этот Фигаро на подхвате? Лихо... – одобрительно бурчал Мартемьянов. – А что же она, сердечная, голосила так под

конец?

– Федор Пантелеевич!!! – ужасалась, хватаясь за голову, Софья. – Не голосила, а пела свою главную арию! Ведь так красиво, как же можно не понять... Ну, хотя бы это... – И Софья, увлекшись, запела по-итальянски, сперва – вполголоса, а затем все громче и громче. Арию Розины она знала прекрасно, потому что Анна в Грешневке повторяла ее очень часто. Софья всегда считала, что для этой арии у нее самой слишком плох верхний регистр, но сейчас девушка даже не думала об этом и опомнилась лишь тогда, когда из конца аллеи послышались восторженные крики «Браво!» и аплодисменты.

– Боже мой... – смущенно пробормотала она, увидев большую группу молодых людей, хлопающих и возбужденно кричащих ей что-то по-немецки. – Я совсем с ума сошла, право... Федор Пантелеевич, уже ведь ужас как поздно, Марфа беспокоится, едемте быстрее!

– Да, матушка, – коротко сказал он, поднимаясь и жестом подзывая фиакр, стоящий неподалеку. Экипаж подъехал, покачиваясь; молодой возница, улыбаясь, склонился с козел и поцеловал руку растерявшейся Софьи, свет маленького фонарика упал на лицо Мартемьянова, и от знакомого, пристального взгляда, устремленного на нее, у девушки пробежал мороз по спине. Мигом схлынуло все очарование минувшего вечера, рассеялись радостные впечатления, пропало восторженное возбуждение от искусства гениальной певицы. До самой гостиницы Софья ехала молча, сжавшись в углу экипажа и кутаясь, несмотря на теплую ночь, в кашемировую шаль. Мартемьянов, кажется, заметил перемену в ней, тоже молчал, глядя в сторону, и лишь перед дверями ее номера спросил:

– Завтра-то пойдешь снова в оперу, Софья Николаевна?

Она, помедлив, кивнула.

– А вы?..

Мартемьянов тоже кивнул, поклонился, прощаясь, и пошел к своему номеру. С чувством невероятного облегчения Софья юркнула в комнату и вздрогнула от ворчливого голоса, раздавшегося из потемок:

- Ну, чего, Софья Николавна? Все еще в девицах вы у меня?

- Марфа!!! - шепотом возмутилась она. - Как не стыдно пугать, я думала, что ты спишь давно!

- Когда это я спала, вас не дождавшись?! - возмутилась, в свою очередь, и Марфа. - Я в окне-то висю-висю, гляжу - нетути ни вас, ни Федора Пантелеича, ну, думаю, конец барышницей невинности, избавляться с божьей помощью поехали... А она, родимая, все еще на месте!

- Отстань, Марфа... - глухо произнесла Софья, прямо в платье и шали ложась на постель и глядя в потолок. - Не бойся, избавлюсь скоро.

- Так это уж знамо дело... - Марфа села рядом, помолчала. Грустно посоветовала: - Только вы уж, барышня, лучше б замуж за него шли. И ему в радость, и вам не в накладе. Да и приличнее так-то.

- Не хочу. - Софья по-прежнему смотрела в потолок. - Содержанкой быть позорно, спору нет, но... зато вольная. Захотела - ушла в чем есть, и ничем не вернет. А жена... Куда вырвешься?

Марфа шумно вздохнула:

- Так-то оно так... Ужинать будете? Я закажу...

- Как закажешь? - удивилась Софья. - Ты понимаешь по-немецки?!

- Ну, велика задача! Столкнемся, ничего! Обождите, я вниз, в ристарант спущуся! Да не засыпайте, покамест не принесу! Вот тоже, наказание, Федор Пантелеич по опёрам даму таскает, а накормить в голову не забрело! - ворча и рассуждая, Марфа вышла из номера.

Когда за ней закрылась дверь, Софья глубоко вздохнула и, не дожидаясь обещанного ужина, заснула - мгновенно и крепко.

Ночью она неожиданно очнулась. Стоял предрассветный час «между волком и собакой», луна давно закатилась, и в комнате не было видно ни зги, только в

фиолетовом квадрате окна мигали холодные голубые звезды. Сидя на постели и поджимая под себя босые ноги, Софья пыталась сообразить, что ее разбудило и откуда точное ощущение того, что рядом что-то не так. Через минуту она поняла: не было слышно привычного храпения Марфы с соседней кровати. Зато вместо знакомых мощных рулад, от которых дрожали занавески и дребезжали оставленные на столе стаканы, из-за стены раздавались странные сдавленные звуки: словно кто-то пытался подавить приступ смеха. Софья озабоченно прислушалась, гадая, что бы это могло быть, и сразу же вздрогнула, сообразив, что звуки доносятся из номера Мартемьянова.

«Боже, уж не у него ли Марфа?!» – внезапно подумалось ей. Мысль эта была совершенно дикой, но Софья прижалась к стене и прислушалась с утроенным вниманием. Она долго слушала странные, то прекращающиеся, то вновь возобновляемые звуки. В конце концов Софья встала, перекрестилась, накинула шаль и на цыпочках вышла из номера.

В длинном гостиничном коридоре было темно, только в конце его мутно зеленело пятно лампы ночного кельнера. Прижимаясь к стене, Софья бесшумно проделала путь до соседней двери. В душе девушка надеялась, что номер будет заперт, но ручка подалась, и Софья, стараясь не дышать, вошла.

Глаза уже привыкли к темноте, и девушка сразу разглядела смутно белеющую постель и сброшенное на пол одеяло, а на постели – Мартемьянова. Марфы нигде не было, и Софья, ужасаясь собственной глупости («Ну что Марфа могла здесь делать?.. Только спросонья такое причудится...»), поспешно шагнула назад, к двери, но глухой протяжный стон заставил ее замереть. Стон повторился. Софья медленно-медленно обернулась и пошла обратно.

Сердце останавливалось при мысли о том, что Мартемьянов сейчас проснется и спросит ее, что, собственно, она здесь делает. Но Федор не очнулся даже тогда, когда Софья зажгла свечу на столе и в ее прыгающем желтом свете подошла к изголовью кровати. Как раз в это время он зашевелился; послышался хриплый горловой шепот:

– Акинфий Зотыч, кидай... Акинфий Зотыч, кидай, говорю, веревку... Держи, не пущай... Вода, сволочь, холодная, шевелись, сукин сын... Не тронь, Акинфий Зотыч, утянет, кидай веревку... Где Васька? Где Васька?! Пущай держится, лесины разойдутся... Пущай держится... Да кидай, кидай веревку, сукин ты сын, затрет бревнами... Я держусь, не бось, только до порога, за ради Христа, до

порога дотяни, не дай затереть... Там я выберусь, Акинфий Зотыч! Что ж ты делаешь, что ж ты делаешь, песий сын, анафема, креста на тебе нет!!!

- Федор Пантелеевич! - испуганно позвала Софья.

Он не услышал, не очнулся; напротив, заметался сильнее, дергая расстегнутую рубаху на груди, и девушка, испугавшись, что Мартемьянов свалится с кровати и уж тогда непременно проснется, опустила на пол, собралась с духом и громким шепотом сказала:

- Федор, я держу веревку, не бойся. Выбирайся.

- Крепше, сукин сын, держи... Примотай... лесины затрут... Васька где?!

- Я крепко держу. Васька здесь. Выбирайся с божьей помощью.

Мартемьянов вдруг оскалил зубы, как бешеный кобель, и Софья поняла, что он и впрямь силится выбраться откуда-то. Раздалось долгое хриплое рычание, черная вострепанная голова заметалась по подушке. Софья, в одну минуту забыв и о своем страхе, и о приличиях, поспешно положила руку на лоб Мартемьянова. Голова его была горячей, как печка. Софья не знала, что ей делать - растолкать ли Мартемьянова, чтобы он воочию убедился, что жив и здоров, или, напротив, не трогать. Неожиданно она почувствовала, что Федора трясет, как в лихорадке: даже кровать под ним, казалось, заходила ходуном. «Ой, господи...» - пробормотала Софья, подтягивая к себе сброшенное на пол одеяло. Она кое-как набросила его на спящего, но пользы от этого не вышло никакой: Мартемьянов продолжал дрожать, метаться по постели и хрипло ругаться сквозь зубы.

«Надо будить», - решила Софья. На всякий случай она встала - вдруг придется бежать без оглядки - и для очистки совести провела ладонью по вострепанному, черному, жесткому, как просмоленная пакля, волосам Федора. Тот вдруг судорожно дернулся - к ужасу Софьи, уверенной, что теперь-то уж он точно просыпается, - и затих. Прошла минута, другая, третья. Мартемьянов не шевелился. Дрожащая от страха Софья нагнулась к нему, убедилась, что Федор дышит, облегченно вздохнула, села рядом на смятую постель и прислонилась спиной к стене, собираясь лишь перевести дыхание и немедленно покинуть номер.

Она очнулась от яркого света, бьющего в лицо. Открыв глаза, Софья осмотрелась и убедилась, что уже утро, и довольно позднее, что она в одной рубашке (шаль валялась на полу), лежит на кровати в номере Мартемьянова и что сам хозяин находится тут же, в двух шагах, – сидит в огромном кресле и глядит на нее.

Она вскочила с ногами на постель и молниеносно замоталась в одеяло. Мартемьянов в ответ на это даже не изменил позы и продолжал пристально смотреть на испуганную девушку.

– Федор Пантелеевич... – пролепетала она. – Я...

– Ну и крепко спала, матушка! – усмехнулся он. – Тут твоя Марфа на меня всех полканов спустила, когда тебя утром в комнате не нашла. На весь этаж вопила, а ты и не шелохнулась даже. Ладно, говорю, не буди, после сам снесу в номер-то...

– Марфа?... А... где она была? Я... я ее искала ночью...

– У меня? – усмехнулся он.

Софья покраснела. Взглянула прямо в лицо Мартемьянову и сухо произнесла:

– Вы ночью разговаривали во сне. Я услышала через стену, побоялась, что заболели, и зашла.

Мартемьянов сразу перестал улыбаться. Коротко взглянув на Софью из-под сросшихся бровей, опустил голову. Долго молчал. Ничего не говорила и растерявшаяся Софья.

– Вон оно как, значит... – наконец проворчал он. – Я-то думал, что уж кончилось это...

– А прежде было чаще? – осторожно спросила Софья.

Мартемьянов, помедлив, нехотя кивнул. Не поднимая глаз, пробормотал:

– И много чего наговорил? Сильно ты спужалась?

– Да, – честно призналась Софья.

Ей очень хотелось спросить, что это за Акинфий Зотыч, от которого Федор полночи требовал веревку, но своего вопроса она так и не задала, уверенная, что Мартемьянов все равно ничего не будет ей рассказывать. Молчание затягивалось, Мартемьянов по-прежнему глядел в пол у себя под ногами и вертел в пальцах какую-то щепку. Софья поняла, что надо уходить. Как можно осторожнее она протянула руку, пытаясь дотянуться до шали, валяющейся на полу, но Мартемьянов заметил этот маневр, и не успела девушка оглянуться, как он уже стоял рядом с кроватью, и его черные, без блеска глаза были совсем близко.

– Федор Пантелеевич!.. – только и успела прошептать Софья, возносимая с постели вверх. Он поднял ее легко, как соломинку, без всякого видимого усилия, и девушка снова подумала: какой же он горячий, так и несет жаром... Софья слабо уперлась в грудь Мартемьянова, но это было все равно что тыкать кулаками в каменную плиту. Федор, кажется, и не заметил усилий Софьи. От испуга и неожиданности она не могла даже закричать, хотя... если бы и могла... что толку? Это была последняя мысль Софьи перед тем, как Мартемьянов поцеловал ее, и стены гостиничного номера вдруг качнулись перед глазами, опрокинулись куда-то, и стало темно.

– ...Ты что, злодей, мне с барышней изделал?! Что, я спрашиваю, сотворил?! Почему они без чувствий простертые?! Почему насилу дышат?! Кто мне слово давал, что сильничать не будет?! У-у, сволочь, вот как врежу сейчас промеж рог, а потом хоть под суд отдавай! И на каторгу пойду с радостью!

Софья с невероятным трудом разлепила ресницы и сразу же увидела Мартемьянова, стоящего у двери. Напротив него, спиной к Софье, возвышалась Марфа и, уперев кулаки в бока, голосила на всю гостиницу. На Софью они не смотрели, и та, оглядевшись и убедившись, что находится уже в собственном номере, как можно повелительней сказала:

– Марфа, немедленно прекрати кричать! Сейчас сбежится вся обслуга... Федор Пантелеевич, пожалуйста, оставьте нас одних.

– Ой, отец небесный, Софья Николавна, живые-е! – заблажила Марфа, разом забыв про Мартемьянова и кидаясь к своей барышне. – Слава господу, а я уж, грешным делом, подумала, что уморил вас этот каторжник...

– Марфа, успокойся. Никто меня не трогал. – Софья посмотрела в сторону Мартемьянова, но увидела только, как захлопывается за ним дверь. – Тебя где ночью носило?

– А я-то понадеялась, что умаялись в тиятре-то и не пробудитесь... – после длительной паузы проворчала Марфа. – Что ж, носило... Мы тож люди грешные, как могём, устраиваемся...

– У тебя что же... – Софья с трудом сдержала смех. – Здесь уже предмет?

– Предмет – не предмет... а все утешение для души. Метрдотель тутошний, Карл Фридрихыч. Уж такой авантажный мужчина, что просто мое почтение!

– О, господи... – пробормотала Софья, вспомнив важного и внушительного, как памятник отцу-императору, метрдотеля, неизменно кланявшегося ей в ресторане. – Как же тебе удалось?..

– Да долго ли умеючи... – отмахнулась Марфа. – Вы вот лучше скажите, как у Федор Пантелеича в номере очутились?

– Тебя искала, – пожала плечами Софья.

– Меня?!. – возмутилась Марфа. – Да... Да что ж вы это себе вздумали, Софья Николавна? Нешто я себе такое дозволю? Да когда ж это я у вас кавалеров перебивала?!

– Некого перебивать было... – Софья, не глядя на насупленную физиономию Марфы, растянулась на постели. – Да ты не дуйся... Я б тебе его уступила с радостью.

– Нужон он мне, лешак! – отрезала Марфа. – Да и я ему без надобности, такие у него в Костроме, поди, на полкопейки пуд отпускаются... Ну, хоть с пользой время провели?

Софья не смогла даже рассердиться – только отмахнулась и повернулась лицом к стене. Разговаривать не хотелось, чувствовала она себя очень глупо, сильно болела голова, и, уже проваливаясь в тяжелую дрему, девушка успела подумать, что теперь-то Мартемьянов точно отправит ее назад в Ярославль: зачем ему нужна содержанка, которая от обычного поцелуя лишается чувств?

К вечеру Софья проснулась вполне здоровой и страшно голодной. Марфа, втащившая в комнату огромный поднос с едой, которой вполне хватило бы на взвод солдат, объявила:

– Федор Пантелеич спрашивают, изволите ли в театр идтить, Мифистофиля смотреть?

– Изволю, наверное... – неуверенно ответила Софья, разом вспомнив то, что произошло утром.

Как теперь ей держаться с Мартемьяновым, она не знала, хрупкое, с таким трудом установившееся равновесие последних дней было безнадежно нарушено, и даже в театр больше не хотелось, а думалось только об одном: забраться бы с головой под перину и лежать там как можно дольше. Марфа, кажется, почувствовала смятение своей барышни и, с грохотом опуская поднос на стол, проговорила:

– Софья Николавна, чем так мучиться, уж лучшей у него назад в Ярославль отпроситься. Наверное, и вправду не сварите вы с ним каши.

– Я не могу сейчас... – невнятно отозвалась Софья, впившаяся зубами в мягкий рогалик хлеба. – Я обещала, что только через месяц... Еще больше недели осталось. Надо додержаться, а там...

– Что – там? – Марфа пытливо смотрела в лицо Софьи. – Всамделе назад в Ярославль покатым? По сцене скакать?

– Марфа, это будет лучше, – помолчав, произнесла Софья. – Курам на смех такая жизнь.

Марфа шумно вздохнула, но ничего больше не сказала и решительно начала вытаскивать из гардероба новое вечернее платье. И Софья поняла, что ехать в театр все же придется.

При виде Мартемьянова Софьины дурные предчувствия выросли втрое. Ожидавший ее внизу Федор выглядел мрачным, как черт перед Пасхой, поздоровался с ней коротко, еще короче похвалил ее платье, хотя и непонятно было, как он умудрился его рассмотреть, даже не подняв на спутницу глаз. Она же, чувствуя себя крайне неловко с низким декольте, которое тщетно пыталась закрыть навязанной Марфой мантильей, даже не смогла поблагодарить за комплимент.

У подъезда гостиницы дожидался фиакр, на притихший город спускались прозрачные сиреневые сумерки, ветер шевелил молодую листву каштанов, из соседнего переулочка доносилась монотонная мелодия шарманки, но вся эта идиллия так и не избавила Софью от тревоги.

И в театре, где сегодня давали «Фауста» со знаменитейшей Аделиной Патти, ангажированной дирекцией лишь на неделю, девушка не могла безмятежно, как вчера, смотреть на сцену и восхищаться. К концу первого акта она обнаружила, что совсем не воспринимает происходящее на сцене. Про Мартемьянова нечего и говорить. Перед поднятием занавеса Софья робко попыталась пересказать ему либретто, надеясь, что так ему легче будет перенести продолжение спектакля, Федор вежливо выслушал, но дело этим не поправилось. На сцену он даже не смотрел, от великолепных высоких нот Патти морщился, словно от зубной боли, и тоже явно думал не о страстях Фауста и Маргариты, хотя оба старались как могли: арии перемежались восторженными аплодисментами зала.

Едва дождавшись окончания второго акта, Софья твердо сказала:

– Федор Пантелеевич, пожалуйста, едемте в гостиницу.

– Что не так? – Федор, словно пробудившись ото сна, вздрогнул, сумрачно взглянул на Софью своими черными глазами. – Устала, матушка?

– Очень, – соврала Софья. – Поедемте, прошу вас...

– Как изволишь. – Он встал и, не глядя на Софью, начал пробираться к выходу. Она поспешила следом.

На улице уже стемнело. Желтый диск луны беспечно катился по фиолетовому небу вслед за фиакром, продираясь сквозь тонкие, словно нарисованные тушью ветви деревьев. Софья, окончательно уверившаяся в том, что Мартемьянову надоело с ней возиться и он завтра же прогонит ее с глаз долой, сидела в мерно покачивавшейся коляске и в уме подсчитывала, хватит ли у них с Марфой своих сбережений, чтобы добраться до России, или же придется телеграфировать Анне. Мысли о деньгах были привычными (полгода назад, в Грешневке, она ни о чем другом почти и не думала) и принесли, как ни странно, заметное умиротворение: Софья даже поймала себя на том, что улыбается. И как раз в этот момент экипаж тряхнуло, и лошади стали.

– Что случилось? – удивленно спросила Софья, поворачиваясь к Мартемьянову. Тот спрыгнул на тротуар, протянул ей руку и кивнул на освещенный подъезд какого-то ресторана в двух шагах.

– Зайдем, что ли, матушка? Я здесь уж бывал, еда хорошая, и вино приличное. Авань и тебе понравится.

– Федор Пантелеевич, – грустно улыбнулась Софья. – Я в этом еще меньше вашего понимаю, так что капризничать не стану. Куда посадите, там и ладно будет.

Мартемьянов усмехнулся в ответ – тоже без особой радости. Его сильная огромная рука осторожно сжала пальцы Софьи, помогая ей выбраться из экипажа, и улыбающийся швейцар распахнул перед ними тяжелую зеркальную дверь.

Ресторан оказался небольшим, чистым, изысканным: столы были покрыты белыми камчатными скатертями, на каждом горели свечи в причудливых, изображающих лозы винограда канделябрах, скользили официанты, высоко поднимая серебряные, уставленные приборами подносы. На крошечной эстраде играл венгерский оркестр. Никто вроде бы не обратил внимания на вновь пришедших, но стоило Софье обвести глазами зал, как к ним подошел степенный метрдотель с белой крахмальной манишкой, поклонился Софье, поприветствовал Мартемьянова, с которым явно уже был знаком, и широким

жестом показал на свободные столы. Федор покачал головой и объявил, что им нужен отдельный кабинет. Несмотря на то что пожелание было высказано на чистом русском языке, метрдотель все превосходно понял и с многозначительной улыбкой, от которой Софью передернуло, пригласил гостей следовать за собой.

Кабинет был маленьким, с плотно занавешенным окном и канделябром на пустом пока столе. Прибежавший вслед за метрдотелем официант ловко и быстро зажег одну за другой свечи, и по стене метнулись черные тени. Затем он отодвинул стул для Софьи, подождал, пока та сядет, наклонился к Мартемьянову.

- Софья Николаевна, что взять-то? - спросил тот.

- Что сами желаете, - безразлично отозвалась она.

Мартемьянов что-то сказал официанту, и тот бесшумно исчез.

- Как вы с ними объясняетесь, Федор Пантелеевич? - поинтересовалась Софья. - Вы же не знаете языка... Неужели они здесь говорят по-русски?

- Ни черта не говорят, - хмуро ответил Мартемьянов. - Просто денег вперед даю, а дальше они и сами рады стараться. Что у нас в Расее, что здесь - одна волынка... Как же быть нам с тобой, матушка?

- Как прикажете, - спокойно произнесла Софья, встретившись взглядом с черными, блестящими в свете свечей, еще недавно так пугавшими ее глазами. Но сейчас, смотря в лицо сидящего напротив мужчины, она поняла вдруг, что совершенно его не боится. Была ли причиной внезапной перемены в ней минувшая ночь, когда Софья, сжавшись на краю развороченной постели, слушала хриплый, бессвязный бред и гладила горячую, взлохмаченную голову этого совсем чужого ей человека? Она не знала и думать о том не хотела - просто прямо смотрела на Мартемьянова и ждала его решения. Теперь ей было в самом деле все равно.

- Нет, Софья Николаевна, не могу, - наконец удрученно выговорил Федор, отводя глаза и с сердцем махая рукой на сунувшегося в дверь официанта.

Тот моментально исчез, а Софья удивилась:

– О чем вы?

– Да о том же все... Утром сегодня уж совсем решил было отпустить тебя. Я же все-таки человек живой, что бы ты там себе про меня ни выдумывала...

– Федор Пантелеевич, я... – начала было Софья, но Мартемьянов, нахмурившись, оборвал ее: – Оставь, матушка! Я ж знаю, за кого ты меня держишь. И, промежду прочим, правильно, и слава богу, что еще всего не знаешь... Вона, только одну ночь мою горячку послушала, а уж в омморок падаешь, так что ж потом-то будет?.. Лучше, знамо дело, тебя назад в Расею отправить, то я понимаю. Но... видит бог, не могу. Гляжу вот сейчас на тебя – и не могу. Глаза у тебя, Софья Николаевна, вовсе погибельные, зелень-трава болотная... Я такие у одной матери своей видал, и то только по молодости ейной.

– А потом? – решила спросить Софья.

Мартемьянов потемнел, и было видно, что отвечать ему не хочется. Однако через силу, коротко, он сказал:

– Выплакала все... Папаша у меня анафема был, погубил ее. Ну, да гореть ему в геенне, не про него речь. Уж прости, матушка, но не отпущу я тебя. Духу не хватает. Слаб человек да грешен...

Софья пожала плечами, не особо удивившись. Помолчав, произнесла:

– Вы напрасно мне это говорите, Федор Пантелеевич. Я и так в вашей полной власти. И от слова своего не отказывалась.

– Это верно, – признал Мартемьянов. – Тебе бы мужиком родиться да купцом – большие дела бы вела! В нашем сословье слово – первое дело. Но как же нам с тобой быть-то дальше? Разве что другой месяц мне до тебя тож не касаться? Еще пообвыкнуть дать? Ты скажи, я выдюжу...

– Федор Пантелеевич, это смешно, – вздохнув, объявила Софья. – Содержанки таких условий ставить не могут.

– Ну так давай я женюсь на тебе!

– А вот это – действительно никогда, – со всей возможной твердостью сказала она. – Простите меня, но...

– Это ты меня прости, – глухо, с непонятной усмешкой отозвался он. – Незачем и спрашивать было.

Наступила тишина. Софья в полном смятении перебирала под столом край скатерти и молилась о том, чтобы вновь вошел официант. Но он не появлялся, только из-за неплотно прикрытой двери доносились приглушенные звуки скрипки и пьяные голоса: кажется, приехала какая-то веселая компания. Мартемьянов сидел опустив голову и не шевелясь, и его лохматая черная тень на стене была такой же неподвижной. В конце концов Софья поняла, что должна спасти положение. В голове был полнейший ералаш, но она храбро вздохнула и начала:

– Федор Пантелеевич, поймите, ради бога, что... Мой обморок с утра...

– Оставь, матушка, – по-прежнему глядя на скатерть, проворчал он. – Не стошнило тебя и то слава богу. Мы понимаем, чего уж...

– Ничего вы не понимаете! – вдруг вспыхнула девушка, и Мартемьянов резко поднял голову. Софья бесстрашно, в упор посмотрела на него. – Я вас не боюсь, Федор Пантелеевич. И вы мне не противны, – сказала она, отчетливо понимая, что говорит правду. – А обморок мой случился от неожиданности. Вы, разумеется, вправе мне не верить, но... я и сама не ожидала. Думаю, что во второй раз уже ничего подобного не случится.

– Во второй... – усмехнулся Мартемьянов. – А это, значит, первый был?

– Да.

– Со мной... первый? – изменившимся вдруг голосом спросил он, кладя огромные кулаки на стол и подаваясь вперед, к Софье. – Или... вовсе?

Софья почувствовала, как кровь приливает к лицу. Но, зная, что соврать Мартемьянову не сможет, она перевела дыхание и подтвердила:

– Вовсе... Меня до вас и не целовал никто. Вы же знаете, как я... как мы жили. Судите сами, откуда в нашей глуши дремучей кавалеры? К нам никто не ездил... Нас из-за... из-за Анны тоже нигде не принимали...

Мартемьянов встал. Поднялась навстречу ему и Софья.

– Ах ты, дитё... – не сводя с нее озадаченных глаз, пробормотал Федор. – Вон, стало быть, как... Так это что ж... Софья Николаевна! Ты мне одно скажи... Только правду, за-ради Христа! Хоть убей потом, но скажи! Тот твой... Черменский... он что же... не была ты с ним?! Не была?!

Упоминание имени Владимира болезненно резануло Софью по сердцу, и она с трудом удержалась от того, чтобы не попросить Мартемьянова замолчать. Но Федор имел право спрашивать, и Софья, собравшись с духом, ответила:

– Нет, не была.

– И не целовал он тебя?!

– Нет.

– Ради бога, правду говори! – Федор взял ее за плечи, с силой, причинив боль, притянул к себе, черные сумасшедшие глаза были теперь прямо перед лицом Софьи, и горячее, неровное дыхание обожгло ей щеку.

– Это же он тебе тогда утопиться не дал?! Ну?! Он?! Ты с ним всю ночь там, на берегу, просидела – так иль нет?!

– Да, так... – едва смогла выговорить Софья. – Но... Мы сначала разговаривали, после я заснула... а утром уже уехала... И... больше я его не видела никогда! И было всего два письма, и... и... да оставьте же меня, с ума вы сошли, Федор Пантелеевич, мне больно!!!

Он, наконец, опомнился и выпустил ее. Перепуганная Софья без всякой грации плюхнулась на стул и, морщась, начала растирать ладонью плечо. Мартемьянов, не замечая этого, стоял возле стола и наливал вина в свой стакан. Вино больше попадало на скатерть и на пол, чем по назначению, но наконец хрустальный стакан наполнился, и Федор залпом, жадно, как воду, выпил его содержимое. Налил еще и снова выпил. Потом покосился на Софью и отставил бутылку. Медленно покачал головой.

- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... А я-то думал...

- Не могу знать, о чем вы думали. - К Софье частично вернулось самообладание, но плечи ее все еще болели, а руки дрожали, и она поспешила спрятать их под скатертью. - И какое это для вас имеет значение? Право, не понимаю...

Мартемьянов молчал; до Софьи доносилось только его тяжелое дыхание. В дверь снова заглянул официант, но теперь уже Софья махнула на него рукой. Придвинув к себе уже наполовину пустую бутылку вина, она налила полный стакан и, зажмурившись, выпила. Тут же, как минуту назад Мартемьянов, налила и второй, но опорожнить смогла только до половины. И не двинулась с места, когда Федор шагнул к ней. И не сказала ни слова, когда он поднял ее на руки - легко, без капли усилия - и понес к дверям.

Когда Мартемьянов нес ее на руках через главный зал ресторана, Софья от страха закрыла глаза и лишь слышала сквозь шум в ушах удивленные и веселые вопли видевших это безобразие людей. Потом ей в лицо пахнуло ночной свежестью: они были уже на улице. Но даже в фиакре, везущем их в гостиницу, Софья не решилась посмотреть на Мартемьянова, а тот, к счастью, и не настаивал, прижимая ее к себе так, что у девушки ныло все тело. В конце концов она решилась на жалобный писк:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Славянские мифические существа, имеющие много сходств с русалками.

Купить: https://tellnovel.com/tumanova_anastasiya/ogon-lyubvi-ogon-razluki

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)